

Арташес Калантарян

## И БЫЛО ВЫСЕЧЕНО НА СКАЛЕ.

ПРОЛОГ .....	2
ПАМЯТНИК.....	4
САНАСАР АЛЕКСАНЯН.....	8
ПАМЯТНИК.....	31
ШАМАМ .....	33
ПАМЯТНИК.....	39
ГРИГОР .....	41
ПАМЯТНИК.....	63
ЛЕВОН.....	67
ПАМЯТНИК.....	77
ВАРСЕНИК .....	79
ЭПИЛОГ .....	86

## ПРОЛОГ

Был день поминовения усопших – сурб хач. Со стороны кладбища, расположенного выше села, доносились жалобные звуки дудука. Мелодия тихо вплеталась в царящий покой маленькой, съезжившейся в ущелье деревушки, плакала, проникала во дворы, и будто по ее зову одна за другой со скрипом открывались двери домов.

Сперва плавно выходили женщины в черных платках или шалях, потом – мужчины, надевая на пороге кепки, потом – невестки и сыновья с какими-то узлами и свертками под мышкой, и вдруг слышался надрывный голос малыша, вцепившегося в бабкин подол:

- Нани, нани! Я тоже приду, да?!

Потом раздавались ласковые проклятья матерей в адрес “чокнутых” ребятишек, которые, оставив дом, хотят тащиться на кладбище, и чей-то запоздавший окрик:

- Послушай, Ерикназ, погоди, я тоже с вами.

И неторопливый мужской разговор, последние поручения женщин остающимся дома, нытьё и плач детей, собираясь со всех домов, дворов, садов, узеньких дорожек и смешиваясь, сливались в общий гул на единственной в селе главной улице, которая вела на кладбище, откуда доносился тихий плач дудука.

Живущие шли на свидание со своим прошлым.

Так было всегда, так было и сейчас.

У входа на кладбище толпа тихо распалась. Каждый направился в сторону родных ему надгробий, и село снова разделилось на дома, дворы и роды. Потом сразу, будто по общей команде, со всех сторон кладбища раздались рыдания, и начался женский скорбный, вопль. В нем были все звуки прошлого, все оттенки страданий. И поскольку село было неверующим и единственным в округе, где не было ни церкви, ни попа, то женщины еще с незапамятных времен скорбели по-язычески, царапая лица в кровь и посыпая прахом распущенные волосы.

Они рыдали в голос, и так же в голос, нараспев, разговаривали со своими умершими родными, задавали им жалостливые вопросы и так же жалостливо отвечали, вспоминая их благородство, широту души и щедрость, смелость и чистоту, честность и бескорыстие. Воздевали к небу руки, протестуя против жестокого и несправедливого божьего суда и тут же склонялись, моля тех же богов ограничиться уже собранной жатвой и спасти, защитить оставшихся. Ради них и ради самих богов.

Ибо что это за боги, если некому будет молиться им.

Скорбный вопль повис над просторным кладбищем и, казалось, не будет ему конца.

Двое-трое из уважаемых седовласых старейшин уже хотели было упрекнуть женщин, когда вдруг воцарилось молчание. Вернее, тихий шепоток пронесся от камня к камню, от группы к группе.

Кто-то сказал:

- Тетушка Варсеник...

И кругом затихло.

Все взоры обратились к входу на кладбище, откуда медленно и величественно направлялась к ним высокая женщина в длинном темно-синем платье и черном платке, из-под которого проглядывали аккуратно расчесанные седые волосы. Лицо ее было бледным, черты тонкие, морщин почти не было, и глаза смотрели на скорбящих с сочувствием и добротой.

Кто была эта женщина, при виде которой люди сразу взяли себя в руки? Кто была она, что имела такое, почти сверхъестественное влияние на окружающих?

Для собравшихся здесь в этом не было никакой тайны.

Она была единственной из жителей села, у которой на кладбище не было надгробий ее родных. Мать целого рода, гордая и счастливая своим мужем и детьми, она теперь была одна, лишенная даже их могил.

Ее горе было настолько велико, настолько огромно, что люди стеснялись плакать в ее присутствии, ибо где-то в душе боялись обидеть тетюшку Варсеник и, вместе с ней, – и самого бога.

## ПАМЯТНИК

Памятник был воздвигнут быстро и, как это ни удивительно, спроектирован и построен почти без споров и накала страстей. Это было тем более удивительно, что хонутцам обычно не требовался повод, чтобы поспорить или подраться. Если нет спорщика, хонутец с удовольствием спорит с самим собой. Иначе он не может. Об этом есть даже анекдот, хотя, возможно, это реальный случай. Как-то раз хонутец Аршак предлагает своему соседу Серго пойти в горы.

- Я должен идти завтра, - отказывается Серго.

- Вай, что же мне делать? - огорчается Аршак.

- Иди один.

- Один? Да что я, с ума сошел? – говорит Аршак, - разве со мной можно куда-нибудь идти? Я же сам себя заем. Разве меня не жалко?

Но по поводу строительства памятника никаких споров не было. Всем нравился высеченный из серого туфа юноша с наивным открытым лицом, который, казалось, готов в любую минуту отбросить столь чужое ему оружие, схватить кизилковый прутик и побежать за ягнятами.

Восемьдесят четыре таких парня не вернулись с войны. За исключением одного-двух, в село вернулись взрослые – кто раненый, кто больной, кто без руки или ноги. Но юноши не вернулись. И сейчас надо было одно за другим высечь их имена на сером туфе постамента.

Каменщик Сурен, которому это было поручено, ежеминутно сверяясь с выданным и заверенным печатью сельсовета списком, денно и ночью высекал с помощью маленького молоточка и резца буквы на сером скорбном туфе. Сперва он работал стоя на лестнице. Затем отбросил лестницу. Потом склонился и работал так. Но имен и фамилий было много, и ему пришлось опуститься на колени. И когда по ночам свет от сельской, работающей на бензине передвижки падал на памятник, то казалось на миг, что это памятник Маштоцу, перед Матенадараном, а варпет Сурен – его ученик, который склонился перед учителем и заучивает армянские письмена.

Высек каменщик Сурен все имена и все фамилии и однажды вечером прямо в рабочей спецовке, с карандашом за ухом, весь в серой туфовой крошке в волосах, бровях и одежде явился в кабинет председателя колхоза Цолака.

- Ну, кончил? – спросил председатель.

- Да, - сказал Сурен, - кончил.

- Молодец, - обрадовался председатель, написал что-то на клочке бумаги и протянул Сурену, - держи, по решению правления выделяем тебе дополнительно пять кило масла.

- Благодарю, - сказал Сурен, забирая бумагу, - но я не за этим пришел.

- Ну?

- Разрешите и на обратной стороне постамента высечь имена жертв, - сказал Сурен.

- Как то есть? - удивился председатель, - значит, ты не всех поместил из нашего списка?

- По вашему списку всех, --сказал мастер Сурен.

- Так кого же ты хочешь еще записать, парень? – встал с места председатель.

- Несправедливое дело получается, Цолак, - сказал каменщик Сурен, - и эта несправедливость не только у нас. Скажи сам, разве правильно, что жертвами войны считаются только те, кто погиб на фронте. А те, кто умер здесь голодный и бесприютный, те, кто умер от горя из-за смерти близких? Разве они не жертвы войны?

Председатель молчал. Он смотрел мимо мастера Сурена на склоны горы Сеник, которая едва вырисовывалась вдаль и всегда покрыта густой травой. Даже тогда, в годы войны.

... Чтобы не умереть с голоду, ходили они на эту, принадлежащую соседнему селу, гору собирать сибех, шушан и другие съедобные травы. Да, ему было тогда лет десять. Женщины в износившейся, латаной одежде, с почерневшими от солнца и грязи лицами быстро обрывали мясистые стебли трав, запихивали в мешки и взваливали детям на спину. Рвали, задыхаясь от спешки и радуясь в то же время, что вечером смогут что-то сварить и поставить на пустой стол перед сырыми голодными детишками и стариками. Хоть что-то. Что-то пожевать...

Вдруг раздался чей-то крик:

- Аман, сторожа!

На вершине горы, подобно страшному бедствию, появились два всадника. Упиваясь своей властью, они застыли на несколько минут на горделивых буланых конях, потом хлестнули коней и понеслись вниз. И что началось, что началось!

- Бегите! – закричали женщины и, гоня перед собой ребятишек, будто ягнят, побежали вниз, царапая босые ноги о камни и кочки.

Но куда убежишь от всадников? Всадники объехали их с боков, перекрыли дорогу, отняли мешки и высыпали зелень под копыта коней, размахивая плетками и угрожая:

- Будете еще луга вытаптывать?!

Один из сторожей, видно, для острастки, замахнулся плетью на мать Цолака, но Цолак бросился вперед и принял на себя удар. Лицо обожгло, но мальчик продолжал стоять перед сторожем с горящими от ненависти глазами и кричал не от боли – болью его было не удивить – а от обиды:

- Что это вы делаете? Вы же не звери! – И вдруг выругался как его неверующие деды, - вы не люди, э, не люди, мать вашу...

Сторожа опешили. Посмотрели на этого – кожа да кости – малыша и расхохотались.

- Если вы такие сильные, идите, воюйте против Гитлера! – кричал Цолак, задыхаясь от бессилия, - сирот нашли, да? Если б здесь был мой брат, что бы с вами было, знаете?

Один из сторожей сразу насупился, сильно хлестнул коня и поскакал вверх по склону, сердито выкрикивая:

- Тьфу, будь проклят тот хлеб, что мы едим! Будь проклят...

А второй, продолжая смеющимися глазами смотреть на Цолака, окликнул его мать.

- Эй, отзови своего щенка и убирайся, не вводи в грех...

И мать Цолака ответила:

- Вы уже и без того по уши в грехе! Что такое трава, что вы не даете собирать умирающим от голода людям, что заставляете малыша поганить рот руганью!

Председатель колхоза простонал:

- Эх, Сурен джан, дорогой ты мой, да ведь тогда придется имена, фамилии всех наших людей писать на камнях. За исключением нескольких, - он сразу в уме вычеркнул имена сторожей из этого списка.

- Ну хотя бы имя тетушки Варсеник напишу, а? – взмолился каменщик Сурен.

- Парень, ты что, спятил? Как же можно писать имя живого человека?

- Да ведь то, что она живет – подвиг, - сказал Сурен. – Потому что ее жизнь – самый высокий героизм. И самая большая жертва. Потому что никто из наших так не пострадал от войны, как тетушка Варсеник.

Председатель колхоза Цолак очень устал за день. И был голоден. С утра не ел ничего и провел три совещания – на животноводческой ферме, в сушильне табака и в садах. Да еще битых два часа убеждал молодого представителя контрольно-ревизионной комиссии Министерства сельского хозяйства, что хозяином колхозного добра является общее собрание колхозников и что только оно может распоряжаться своими средствами.

Председатель Цолак очень устал за день и потому, наверное, вспылал:

- Послушай, что ты от меня хочешь? Вот прилип! Это ты будешь мне объяснять, кто такая тетушка Варсеник? Моя мать до сих пор носит пошитые ею платья. А сам я впервые в жизни досыта поел только у нее. Да, знаю. Но нет такого порядка, нет закона такого. Если очень хочешь, возьми для ее семьи отдельный камень и пиши. Что, я тебя за руку держу?!.

- И думаешь не возьму? – сказал каменщик Сурен, - я, если хочешь знать, не в пример некоторым, хлеб-соль не забываю, и до последнего вздоха буду помнить, кому обязан жизнью. Да, да, если б не тетушка Варсеник, уж не знаю, в каком бы я детдоме рос, где бы был сейчас и был бы вообще, потому что тетушка Варсеник вырвала меня в райцентре из рук моей сошедшей с ума матери и привезла в село. Вот, товарищ Цолак! И раз уж ты этого не понимаешь, не нужны мне эти

дополнительные сыр и масло. На! А мне дай машину и отпуск на два дня, чтоб я поднялся на вершину Карапа и вырубил там камень.

Через два дня каменщик Сурен с вершины Карапа привез огромный кусок базальта. Привез, выгрузил у себя во дворе, сделал навес от солнца, взял в руки молоток и резец и приступил к работе. Но с какой стороны он ни заходил, рука не поднималась высекать и сглаживать неровности. Уж очень естествен и прекрасен был камень. И Сурен решил не трогать его. И сказал себе, что невозможно найти другой камень, который так подходил бы тетушке Варсеник, ибо и она была чиста и естественна, как этот обломок скалы, и такое же великое терпение заключено в ней. И он не тронул камень. Только в середине, прямо в сердце камня, высек: “Жертвы Великой Отечественной войны из одной армянской семьи”. Провел снизу линию и написал под ней: “Санасар Алексанян”.

## САНАСАР АЛЕКСАНИЯ

Как только Санасару исполнилось четырнадцать лет, его дед, священник села Тауш тер-Месроп, подозвал к себе внука, расцеловал в обе щеки и сказал:

- Дитя мое, беззаботные годы твоей жизни кончились, да простит мне господь, что я называю беззаботными твои сиротские годы. Но господь свидетель – я сделал для тебя все, что мог. И дедом был тебе, и отцом, и матерью. Но если моих знаний хватало мне, чтобы прожить и нести людям веру, то на сегодняшний день тебе этого мало. Ты должен учиться. Скажи, кем ты хочешь стать, чтобы я выполнил свой последний долг перед тобой и твоими покойными родителями. Кем ты хочешь стать, Санасар, сыночек?

Разговор этот происходил в молельне церкви. С закопченных стен взирали на деда и внука потрескавшиеся бледные лики святых. Вся жизнь Санасара прошла в этих стенах, и он видел, как преклоняли колени здесь, в этой замшелой обители веры, согнувшиеся под бременем горя мужчины и женщины и выходили отсюда очищенные и просветленные, с блеском надежды в глазах.

И Санасар ответил:

- Хочу как ты, дед, стать священником!

Тер-Месроп растрогался. Но он знал своего внука лучше, чем тот себя. Знал, что призвание Санасара не церковь, что даже произнося “Отче наш”, он тоскливо смотрит сквозь узенькие окна церквушки на зеленые луга. Он знал, что внук скорее хочет сделать деду приятное, и хотя в эту секунду он, может, и искренен, но потом будет всегда жалеть об этом. Он знал также, как трудно нести веру среди неверующих, когда сам-то ты не ахти какой верующий, и поскольку часто жалел сам себя, пожалел и внука.

- Нет, - промолвил тер-Месроп, - нет, я не согласен.

-А кем ты хочешь чтобы я стал, дед? – удивился Санасар.

- Наши односельчане, - сказал тер-Месроп, - да и вообще таушцы, верят только в одно – в землю. И если порой смотрят в небо, то не из-за господя, дитя мое, а все ради той же земли. Смотрят, чтобы увидеть, будет ли дождь. А раз так, тебе нечего делать в церкви. Иди служить их вере – земле. Это богоугодное дело. Я отправлю тебя в Тифлис, в лесное училище. Когда вернешься и меня уже не будет, поскольку и жизнь наша и смерть в руках божьих, - добавил он, заметив протестующий жест внука, - посадишь дерево на моей могиле, посадишь липу, и когда весной она зацветет, знай, что это мое благословение тебе, сынок.

- Да будет воля твоя, дед.

Санасар опустился на колени и поцеловал морщинистую руку деда, от которой пахло воском и ладаном.

- Бог тебе в помощь, - перекрестил его и вдруг не выдержал, прослезился тер-Месроп.



Когда через четыре года Санасар Алексанян вернулся на родину, старого священника уже не было. Санасар выкопал по четырем углам скромного надгробья, сделанного из красного туфа, ямки, посадил четыре саженца липы, которые привез с собой из долины, хорошенько полил, потом вошел в церковь, взял из кельи тер-Месропа на правах наследника гордость и богатство последнего – связку старинных книг в кожаных переплетах, среди которых были рукописный “Нарек” 16-ого века, а также отпечатанная в Тифлисе работа Микаэла Налбандяна “Земледелие как верный путь”, и закрыл на тяжелый железный висячий замок ворота церкви.

Нового священника еще не прислали. Время было смутное, люди забыли бога.

Санасар Алексанян запер также дверь дома тер-Месропа и переехал в расположенное неподалеку от Тауша село Хонут, где жила его замужняя сестра. Во всем селе, как это ни странно, не было ни одного сада, если не считать дикого кизила, растущего в ущелье и давшего название селу, да нескольких диких вековых грушевых деревьев. И Санасар Алексанян решил взрастить в Хонуте сады и начал с приусадебного участка сестры. Сперва он, согласно полученным знаниям, обработал и удобрил землю навозом. И это стало поводом для первых насмешек.

- Сынок, а от плодов этих твоих деревьев не будет нести навозом? – посмеивались старики.

- Да если б здесь росли деревья, разве ж наши деды стали бы разбивать сады вдали от села, на берегу Гетапа, - сомневались его сверстники.

Но Санасар не спорил. Он знал, что словами людей не убедишь, и поэтому молча и терпеливо возделывал сад. А когда через несколько лет пышно расцвели и дали плоды посаженные им яблони и груши, абрикосы и сливы, когда по веткам деревьев поползла виноградная лоза, село раскололось на два лагеря. Одни говорили: “Здесь не обошлось без черта”, а другие отвечали: “Не может того быть – ведь он внук священника”.

Тогда Санасар Алексанян пригласил всех в сад, угостил фруктами и сказал:

- Хотите называйте чертом, хотите – богом, но настоящее имя этому – наука. По совету деда я научился этому делу, чтобы выращивать сады в Таушском районе, потому что наш народ держится садоводством. И ради вас самих прошу помочь мне. Мой покойный дед оставил мне кой-какие средства, но их мало для всего дела. Помогите мне, чтобы я привез химикаты, инструменты и саженцы и заложил для вас сады на селе и в Гетапе. Ведь гетапские сады состарились, одичали, нужно сажать новые.

Село поверило Санасару Алексаняну, вернее, убедилось, что если черт тут и замешан, то это только улучшило качество плодов, и его направили в Тифлис.

Но Санасар и сам лучше других знал, что в Тифлис он хочет ехать не только за саженцами и химикатами, но и за подарками для младшей дочери Аслана-бека.

Он увидел ее у Большого родника. Он со своей сестрой Эрикназ мыл ковры, когда маленькая девочка с кувшином на плече пришла туда за водой. Санасар сперва услышал громкий стук своего сердца и лишь потом разглядел девушку. Она словно серна на миг взглянула огромными черными глазами на юношу, очаровала его и исчезла.

- Эрик, кто эта девушка? – спросил Санасар.

- Варсеник, дочь Аслана-бека,-ответила Эрикназ.

- По душе мне прихлась, - сказал Санасар.

- Она же еще маленькая, парень, - засмеялась Эрикназ, - у Аслан-бека есть дочери и постарше – одна другой краше.

- А мне нужна она, - сказал Санасар.

- Мала еще, парень, - повторила Эрикназ.

- Подожду, пока подрастет.

Он имел дело с садами и привык терпеть и ждать. И, тем не менее, решили обручиться. Эрикназ с тремя-четырьмя женщинами посетили дядюшку Аслана, позвали Варсеник, накинули ей на плечи цветастую шелковую шаль, насыпали в подол конфет, сели, перекусили принесенной гатой и курицей, и когда уходили, Аслан-бек проводил их и сказал дочери:

- Ты обручена с Санасаром.

- Почему? – удивилась Варсеник.

И все засмеялись.

Обрученные ждали четыре года. Четыре года родители Варсеник ничего не покупали для дочери. Все посылал ей Санасар: и обувь, и одежду, и украшения. Эрикназ говорила:

- Зачем столько посылаешь?

- Ничего, - отвечал Санасар, - пусть радуется и растет.

За эти четыре года Санасар ни разу не смог поговорить с Варсеник. Все время поджидал ее у родника, в горах, на поле, заходил к Аслан-беку с бараниной и сладостями, - все равно, не удавалось поговорить с девушкой: Варсеник стеснялась и убегала.

Только один раз они встретились. Эрикназ обманула, что больна, и попросила у Варсеник щавеля, а когда девушка вошла в дом, Эрикназ вышла.

- Подойди, девушка, не бойся, - сказал Санасар.

Но Варсеник не подошла.

- Ведь мы же обручены, почему не хочешь говорить со мной?

Варсеник не ответила.

- Я слышал, что ты хотела иметь розовую шаль?

- Нет, - сказала Варсеник, - от тебя не хочу. Дай бог здоровья моему брату, если захочу – напишу в Баку, он пошлет.

На ней было синее ситцевое платье, слегка порвавшееся на боку. Санасар подошел, рванул пальцем платье.

- Это тебе брат купил? – спросил он.

- Не делай, а то заплачу, - сказала Варсеник.

- Не плачь, - засмеялся Санасар, - иди, - он приподнял подол ее платья и насыпал конфет, - иди...

И Варсеник выбежала из дому. Она выбежала, но не знала, куда девать конфеты. Выбрасывать было жаль. Добежала до дому, увидела мать, сидящую у прялки, высыпала конфеты ей на колени и убежала. Мать крикнула вслед:

- Ах, чтоб тебе пусто было, это откуда идешь? Кто тебе конфеты дал?

Но ее уже и след простыл.

Свадьбу справили поздней осенью. Все было покрыто снегом. Собрались молодухи и девушки со всего села, причесали Варсеник, возложили корону из бус на голову, накрыли шелковой фатой. На весь свет разнеслись звуки зурны и доола. Свадьба длилась два дня и две ночи, по всем законам и обычаям. Сперва положили на стол поднос, и все собравшиеся стали бросать туда серебряные монеты. Кто подходил к подносу и протягивал руку, удостоивался громогласного объявления тамады:

- Многие лета Саркису-беку, который дал рубль.

- Многие лета Соси-беку. Пожертвовал 50 копеек.

И два дня и две ночи лилось красное вино и пировали бесчисленные беки села Хонут.

Во всем селе лишь несколько человек не имели звания бека. Все остальные были беками. Причем среди известных своими странностями хонутцев и беки были странные. Их звание ничего общего не имело ни с имением, ни с богатством. Они были простые землепашцы и скотоводы, а высоким званием были обязаны только и только своим дедам. Во время русско-персидской войны их деды проявили чудеса храбрости и самоотверженности, совершили много подвигов, приостановив продвижение персидского войска к Тифлису и не сдав Таушский уезд. И русский император пожаловал им дворянство, то есть звание беков, освободил от налогов и увековечил все это на изготовленном из оленьей кожи пергаменте.

Вот и пировали милостью своих героических дедов беки-аристократы Хонута, благородные земледельцы и скотоводы, среди которых если кто и выглядел аристократом, то лишь новобрачный Санасар Алексаян в своем европейском костюме, блестящих кожаных сапогах, с золотой цепочкой карманных часов, выглядывающей из-под пиджака.

В течение всей свадьбы Варсеник очень хотела посмотреть на жениха, но стеснялась и с нетерпением ждала, когда, наконец, кончатся тосты и она сможет посмотреть в смеющиеся

зеленоватые глаза Санасара, на его костюм и блестящие сапоги. Но когда дружка, с одной стороны, и жених – с другой, посадили ее в экипаж, Варсеник оглянулась на свой глинобитный домик и заплакала, посмотрела на съездившихся, растерянных Аслан-бека и мать и заплакала. Аслан-бек и мать тоже зарыдали. Наверное, тогда все и началось.

А в Тауше, в каменном доме тер-Месропа, полном приятного аромата бессмертников, Варсеник ждали все сюрпризы мира, все волшебные сказки. Впервые в своей жизни младшая дочь Аслана-бека увидела блестящие никелированные кровати с мягкими шелковыми покрывалами и цветастыми подушками. И когда Санасар, нежно обнимая ее за плечи, объяснил, что на этой постели будет спать она, девушка отшатнулась в испуге.

- Боюсь, а вдруг упаду, - пролепетала она.

Ей было жаль ходить по коврам, и она невольно искала по углам земляной пол, изумленно смотрела на блестящий пузатый медный самовар, отражавший как зеркало блеск ее счастливых глаз, кончиками пальцев гладила бока зеркального гардероба, смеясь, следила за переливами бусинок своего венца в зеркале умывальника, в верхней части которого по голубой воде спокойно плыли нарисованные краснолапые утки, а внизу лежали куски ароматного мыла, и издавали опьяняющий запах цветов изящные флаконы. Потом Варсеник бросилась к ножной швейной машинке “Зингер”, подобная которой была в Хонуте только в доме Соси-бека, не выдержала и спросила:

- Это моя?

- Твоя, твоя, - радостно засмеялся Санасар – научись шить, чтоб одевать наших детишек в красивую одежду.

А когда юноша подошел к стоящему в углу непонятному предмету и повертел блестящую белую ручку, Варсеник показала, что она сходит с ума, ибо дом вдруг наполнился непонятными звуками, необычной, но очень приятной мелодией, которую выводили незнакомые инструменты. Она огляделась по сторонам, но не увидела никаких музыкантов. Даже выглянула в окно, но так как и там никого не было и уже стемнело, испуганно спросила:

- Что это, боже мой?

- Это граммофон, граммофон, - весело засмеялся Санасар.

- А где же музыканты? – не отрывая глаз от инструмента, спросила Варсеник.

- Вот в нем.

- Как то есть? А как они там помещаются? – с недоверием спросила Варсеник.

- Их нет, там одни только звуки, звуки.

И Варсеник сказала, радостно сверкнув глазами:

- Я из этого дома больше никуда не уйду. Ты только не выгоняй меня, Санасар джан...

И добавила:

- Санасар джан, а как бы сделать так, чтоб и этот дом был, и папа с мамой жили рядом?

И Санасар обнял ее тонкий стан...

- Перенесем этот дом по камню в Хонут. Пусть будет по твоему, Варсеник джан...

Ах, какие это были дни, какое было счастье!

Подобно тому, как приживались, крепили и зацветали посаженные молодым садоводом черенки, так расцвела и наполнилась любовью Варсеник и Санасара, расцвела и дала щедрые плоды: один за другим пришли в мир Левон, Григор и Шамам, заполнили дом шумом и весельем.

Поднялись, стали садами тысячи деревьев, посаженные Санасаром Алексаняном в Хонуте и Гетапе. Хонутцы пользовались сладкими плодами и благословляли их создателя и получали такие богатые урожаи, что хочешь не хочешь стали подумывать о продаже. Хочешь не хочешь, ибо до сих пор никто не мог припомнить, чтобы таушцы продавали что-либо на рынке. Дарили, брали в долг, меняли на рынке один товар на другой, но продавать не продавали. В основном потому, что таушцы, как ни удивительно, в этом вопросе отличались богобоязненностью и утверждали:

- Избави бог! Известно ведь, если продашь молоко, корова перестанет доиться. А если продашь плоды – дерево засохнет.

Но Санасару было чуждо суеверие, и когда знакомый азербайджанец с соседней железнодорожной станции предложил ему работать в его посреднической конторе и заняться подрядной торговлей саженцами, Санасар согласился. Контора имела широкие связи с районами, где не было плодовых деревьев, и быстро пошла в гору, главным образом благодаря энергичной деятельности Санасара, который разбивал сады там, где его просили, за что контора получала немалые доходы. Дела шли хорошо, он даже нанял на станции дом и перевез к себе Варсеник с детьми. Но так как ему часто приходилось месяцами пропадать по другим уездам, то он очень уставал и тосковал по семье.

- Когда не вижу вас хоть неделю, просто с ума схожу, - говорил Санасар.

И не взгрустнул, а даже обрадовался, когда посредническую контору закрыли.

- Колхозы организуют, Варсеник джан, - объяснил он жене, - представляешь себе? Сады объединят, у них будет один хозяин. Знаешь, какие дела можно будет совершить. Уже не придется исполнять чьи-то капризы, будем сажать только те деревья, которые дают лучшие урожаи, будем сажать много, по плану, по сортам... Сегодня же поеду в Хонут, скажу, чтоб меня тоже приняли в колхоз, и приеду за вами.

Вернулся он той же ночью удивленный и испуганный.

- Ничего не пойму, - сказал, - хонутцы на собрании решили выгнать нас из села.

- За что? – всплеснула руками Варсеник.

- Не пойму, - снова повторил Санасар, - ведь я же ничего не сделал, ведь я работающий человек, специалист. Сажал сады. Ничего плохого не делал, Варсеник джан, против власти не выступал, потому что эта власть мне по душе. За что меня считают чуждым элементом?

Всю ночь они не спали. Смотрели на детей и плакали.

А на рассвете на станцию пришел Аслан-апер. Пришел и сообщил добрую весть:

- Ночью снова собрались, - сказал он, - и решили, что произошла ошибка!

Супруги обрадовались...

- Поставь чай, Варсеник джан, - засуетился Санасар, - я же говорил, что это недоразумение. Я с моими знаниями нужен власти. Если меня кто-нибудь тронет, значит, из личной вражды, потому что...

Он не успел закончить свою мысль. Вошли два милиционера-азербайджанца, предъявили ордер, обыскали весь дом, но, видно, не нашли то, чего искали, потому что удивленно и разочарованно переглянулись, а один, тот, что был старше званием, сказал на родном языке:

- Это дело бессовестного человека!

Но тем не менее Санасара арестовали и на глазах у опешивших и испуганных детей отвели в тюрьму. Когда его выводили, Санасар обернулся на секунду, посмотрел на Варсеник и сказал:

- Ты знай, что я не виновен, женушка, это недоразумение. Есть на свете правда. Расследуют и отпустят.

Через три дня к Варсеник пришел знакомый азербайджанец.

- Худые вести, баджи, - сказал он. – Братца Санасара увозят. Я своим садом ему обязан. Но ничем помочь не могу, а то меня и сада лишат, и детей. Но чтоб душу облегчить, могу сделать только одно. Приходи ночью к тюрьме, сегодня я дежурю. Пропущу тебя. Поговорите. Больше ничем помочь не могу, баджи...

И младшая дочь Аслана-бека, которая с наступлением темноты – хоть убей – не выходила из дому, глубокой ночью, падая в дождевые лужи и вновь поднимаясь, вся промокшая и испачканная, пришла к тюрьме.

- Это что за несчастье, Санасар!

- Не бойся, - сказал Санасар, - вот увидишь, все кончится хорошо. Надо только ждать, Варсеник джан. Они скоро убедятся, что я не виновен...

- А пока выяснят, как мне детей содержать, Санасар?

- Продай все, что есть дома, и трать на детей. Ведь так же будет не всегда. Проверят, отпустят, женушка... Ты верь.

- А что нам теперь делать, где жить?

- Только и только в Хонуте. Я сказал, чтоб двоюродные братья заехали за вами. Как приедешь в село, подай заявление и вступай в колхоз. Работай так, чтоб им стало стыдно за содеянное. Если будет нужно, и от меня отрекись, Варсеник.

- От тебя? – зарыдала Варсеник – чтоб я отреклась от тебя?

- Для виду, - сказал Санасар, - все равно скоро проверят и меня отпустят. Только для виду...

- Ни для виду, ни без вида я от тебя до самой могилы не отрекусь, Санасар, - сказала Варсеник, - от жизни отрекусь, но от тебя никогда!

- У нас ведь дети, - сказал Санасар.

- Ты мне адрес пришлешь, - сказала Варсеник. – Я заберу детей и приеду к тебе, где бы ты ни был.

Санасар возразил:

- Это неправильно. Дети должны расти на родной земле.

- На той земле, откуда гонят их отца? – простонала Варсеник.

- Земля тут ни при чем. Виноваты люди, Варсеник джан. А земля не виновата. Ничто на свете не остается тайным. И здесь все всплывет. Жив буду я или нет, ты узнаешь кто решил меня сослать, хотя я и сейчас знаю, кто это...

- Кто же?

- Имен их не знаю, не буду брать грех на душу, но ты убедишься, что это те, у кого нет садов. Два-три человека, которых я не смог научить самому святому и самому простому делу – возлюбить землю свою и посадить дерево. Моими врагами могут быть только они. И больше никто.

Дежурный забеспокоился, и Санасар сказал:

- А тепеть подойди, расцелуемся и уходи.

- Ой, стыдно, -отшатнулась Варсеник.

Азербайджанец затянул какую-то грустную и протяжную мелодию, будто просто так, от безделья, отвернулся и стал смотреть в узенькое тюремное окошко, за которым небо уже начинало светлеть.

- Он понимает по нашему, - еще дальше отодвинулась Варсеник. – Я пойду.

- Без поцелуя? – грустно спросил Санасар.

- Да, - сказала Варсеник, - иначе я заплачу, ослабею. А мне надо детей растить...

Три двоюродных брата было у Санасара, и у всех были телеги, волы, лошади, но никто из них не приехал за Варсеник и детьми. Одни говорили, что новое руководство села не разрешает, другие –

что они сами боятся. А Аслан-апер на обратном пути со станции попал под дождь, простудился, слег и бредил в жару:

- Ягнятки мои, режут их, я вижу... Седлайте коня, говорю! Режут, помогите, спасите, разве не вам говорю? – Он на секунду открыл глаза, огляделся вокруг мутным взором, спросил: - Не привезли Варсеник? – и снова забылся в бреду.

А на рассвете скончался. Перед смертью он на секунду пришел в себя и снова спросил:

- Дорогие мои, не привезли еще Варсеник?

- Да, да, поехали за ней, спи себе, - недовольно ответили спросонок его сыновья и невестки, - поехали за ними, Аслан-апер... Ты спи...

И Аслан-апер облегченно откинулся на подушку, вздохнул и угас.

За Варсеник с детьми поехала Эрикназ, единственная, кто не спросила разрешения начальства и не испугалась. Приехала, уложила вместе с Варсеник вещи, усадила детей на телегу и направилась в Хонут.

Но они не доехали. У Гетапа, в десяти километрах от Хонута, там, где колыхались от осеннего ветра и тревожно скрипели обнаженные ветви посаженных Санасаром Алексаняном деревьев, их встретил представитель Хонута верхом на буланом коне.

- Вы, - сказал он, - не имеете права въезжать в Хонут. Общественность вас не принимает и ваш дом конфискован.

И Варсеник вдруг рассмеялась. Рассмеялась так неожиданно и громко, что даже Эрикназ испуганно посмотрела на невестку, решив, что она с горя рехнулась. А представитель удивился и спросил, нахмутив брови:

- И чего это ты смеешься?

Варсеник, продолжая смеяться, спросила:

- Дядя Баграт, у тебя ведь нет сада, правда?

- Нет, - еще больше удивился представитель. – А зачем ты спрашиваешь?

- Да, ты был мудр, Санасар, - глядя куда-то в сторону, вдаль, произнесла Варсеник. – Ты был мудр!

Они поселились в Гетапе, в заброшенном хлеву и прожили три месяца, пока им не разрешили вернуться в село и поселиться... в другом хлеву. Дом оставался под арестом. Было решено превратить его в контору.

К полудню на площади, как говорится, некуда было иголке упасть. За покрытым красной материей столом сидели организаторы аукциона. Их было трое, и у всех троих были удивительно воодушевленные и решительные лица. Судебный исполнитель Епрем, который был



единственным, кто сохранил свою должность после революции и кто своим визгливым голосом умел добиваться от хонутцев абсолютной тишины, поднял руку и завопил:

- Трудящийся народ Хонута, молчать! Слово предоставляется Баграту-беку.

Но так как собравшиеся захохотали, тут же поправился:

- То есть на сегодняшний день – товарищу Баграту Топаляну.

Баграт Топалян свирепо посмотрел на Епрема, что-то пробормотал – вероятно, выругался, потому что сидящие рядом с ним радостно захлопали, - и сказал:

- Уважаемое общество. В эти дни, когда международный империализм поднялся против достижений нашего трудового народа, мы должны быть бдительны и должны держать рот на замке, потому как у врага повсюду уши. И международный империализм не только вне, но и внутри, среди нас.

Он строго посмотрел на собравшихся и на заорал на исполнителя Епрема:

- Я кончил, несите вещи!

- Хлопайте! – провизжал Епрем

И хонутцы захлопали в нетерпеливом ожидании.

Сначала на площадь вынесли никелированные пружинные кровати, и Баграт Топалян под удивленные возгласы собравшихся объявил:

- Железные тахты. Назначенная цена 30 рублей. Кто даст больше?

- Что они говорят, - поднес руку к уху и закричал старый Мукел-ами, - что это они говорят, дорогие мои?

- Говорят, цена 30 рублей, апер, - закричал в ответ сидевший рядом внук.

- Что-что?

- Говорят, цена 30 рублей...

- Вай, как то есть? – удивился Мукел-ами. – Раз это все наше, зачем же платить?

Объяснить было некогда, и посему на него просто цыкнули.

- Тридцать один, - нерешительно произнес кто-то.

- Это кто сказал, - закричал Баграт Топалян, - это ты, Мушег?

- Да, - робко ответил Мушег.

Баграт Топалян удивился:

- Послушай, если у тебя есть столько денег, почему не возвращаешь мои три рубля? Уже четыре года прошло, э!

- Верну, верну, Багра-бек... джан...

- Как то есть верну, э, - разозлился Багра-Топальян, - если есть, верни сейчас же... Ты что думаешь, не вернув мне долг, будешь себе нежиться на этой мягкой тахте, да?

- Послушай, братец, кто же на них будет спать, - проклиная самого себя, пробормотал Мушег, - думаю, дешево дают, отвезу на станцию, продам вдвое дороже, и твой долг верну, и вообще...

- Тридцать пять, - строгим голосом объявил Багра-Топальян, - это моя цена. Тридцать пять – раз! Кто больше? Тридцать пять – два!

И тут началось. Включившиеся в игру дети, дабы показать учителям, родителям и соседям свои познания по арифметике, стали кричать со всех сторон:

- Тридцать пять – три, тридцать пять – четыре, тридцать пять – пять!

Поднялся страшный гвалт и смех. Судебный исполнитель Епрем что-то крикнул и Багра-Топальян провозгласил:

- Тридцать пять – три, тридцать пять – три! Продано! – Он достал из кармана деньги, пересчитал их, положил на стол и крикнул своим детям: - Мано, Пато, несите их в дом, - потом снова оглядел собравшихся, заметил, что кое-кто усмеяется, и громко сказал, - да, так должно быть. Хватит, теперь мы будем спать на мягкой тахте! А как же?!

Один за другим на площадь вынесли гардероб, колыбели и цветные шали, умывальник, швейную машинку, самовар, подушки и одеяла, мыло и одеколоны, ковры и коврики, даже вышивку Варсеник – на черной материи белые кошечки, и выяснилось, что у неимущих беков Хонута, да и не только у беков, довольно много денег. В течение часа все было раскуплено. Все шло гладко, пока очередь не дошла до посуды. Багра-Топальян, просунув палец в ручку, поднял какую-то зеленую посудину, оглядел ее, обнюхал почему-то и объявил:

- Посуда для каши. Объявленная цена 50 копеек. Кто больше даст?

И вдруг до этого абсолютно безмятежная и спокойная дочь Варсеник маленькая Шамам громко закричала и заплакала:

- Мам, мой горшок! Хочу мой горшок, мам!

Все смешались, заговорили разом, заинтересовались, стали расспрашивать друг друга, выяснили все и растолковали Багра-Топальяну. Последний с недоверием и сожалением поглядел на злуполучный сосуд, но так как Шамам продолжала плакать, протянув ручки к сидящим за красным столом людям, вдруг швырнул зеленую посудину под ноги ребенку.

- На, на, сопля! – закричал он. – Мы к этому не привыкли, наши дети могут и под забором!

На аукцион не был вынесен только граммофон. Не смогли определить цену и ждали ответа на свой запрос из района. Но так как ответ запоздал, решили граммофон оставить прямо в новой конторе, как общественную собственность. И несколько дней подряд сельские ребяташки, подталкивая друг друга, выстраивались у дверей и окон конторы, внутри которой судебный исполнитель Епрем все вертел белую железную ручку и из похожего на огромный цветок колокольчика раструба вырывались на божий свет волшебные звуки. Потом то ли пружина сломалась, то ли любознательный Епрем решил посмотреть, где все же прячутся музыканты и разобрал граммофон, - никому не было известно, но через несколько дней граммофон замолчал, и впоследствии хонутцы на бурных и жарких собраниях, принимая исторические решения, стряхивали пепел в широко раскрытый, похожий на огромный цветок колокольчика раструб. Очень было удобно.

Удивительная вещь жизнь. Человек порой радуется таким мелочам, которых раньше и не замечал. Сразу лишившаяся всего, Варсеник страшно обрадовалась, когда увидела, что жестяную печь оставили, забыли вынести на аукцион. Принесла, поставила в хлеву, разожгла и уселась с детишками вокруг. А вечером, когда Эрикназ принесла детям свежее выпеченный хлеб и сыр и рассказала последние сельские новости, Варсеник страшно растрогалась и заплакала от радости. Потому что думала, что в селе нет ни одного сердобольного и сочувствующего человека, что даже родные и близкие сразу забыли и Санасара, и сделанное им добро, и посаженные им сады. Но оказалось, что это не так. Нет! Есть честные люди, и когда в решающую минуту в душе у людей идет борьба между злом и добром, никогда не можешь знать, в ком что победит. Да, это так! Бывает, что тот, кого ты считал близким, становится врагом, а предполагаемый враг – другом. И что самое трогательное, помощь и сочувствие приходят вдруг оттуда, откуда и не ждал, от тех, кого как на грех, и за людей не считал.

Эрикназ сказала, что во время аукциона самовар, один из ковров и черную материю с вышитыми белыми кошечками купили Меграб Чатинян, младшая невестка Соси-бека Маро и беженец Анушаван. Купили, чтоб не попало в чужие руки, и как только положение немного улучшится, принесут в дар Варсеник.

Меграб Чатинян, Маро, беженец Анушаван... А ведь они никогда не были в числе друзей...

Самой большой потерей для Варсеник была, конечно, швейная машинка. Она уже великолепно шила на своем “Зингере” и теперь могла бы шить для людей и содержать ребяташек. Но машинки не было. Купивший отвез ее на станцию и продал за бесценок. И Варсеник шила то у одного, то у другого на старых плохих машинках. Так и жили.

От Санасара пришло письмо.

“Варсеник джан, джан, джан... Я живу в таком месте, где яйца можно варить прямо в песке”.

Собрались всем селом, чтобы выяснить, где же это Санасар живет. Один, невесть почему, притащил сонник, второй – какие-то древние карты. Изучили сонник, обследовали карты, но ничего подходящего не нашли. Мукел-ами выкрикивал, что самое жаркое место – на берегах Куры, но его никто не слушал. Беженец Анушаван утверждал, что речь, вероятно, идет о пустыне

Сахара, где, как он слышал, невыносимая жара. И все долго смеялись, когда Левон, которому было уже 11 лет, повертев конверт, сказал:

- Ташкент.

- Какой Ташкент? – заволновались собравшиеся.

- Письмо пришло из Ташкента. На конверте написано по-русски, - значит, папа находится в Средней Азии, в Узбекистане, - сказал Левон.

И Варсеник с гордостью посмотрела на своего старшего сына.

Санасар писал, что с ним все в порядке, что опять занимается любимым делом – сажает и возделывает сады. И писал еще, что послал жалобу в Москву и уверен, что если она дойдет, его вопрос будет решен положительно.

Так и произошло. Его жалоба дошла. Санасар Алексанян был признан невиновным, несправедливо осужденным и через три года с соответствующими документами в руках вернулся в Хонут.

Удивительный был он человек. Четыре года не видел семью, сходил с ума от тоски, и хотя чем больше приближался к родному селу, тем становился нетерпеливее, тем сильнее хотел увидеть родных, но, дойдя до Гетапа, застрял в посаженных им садах. Где-то обрадовался, увидев, как окрепли деревья, где-то обругал колхозных садоводов, взял в руки топор и пилу, стал подрезать деревья, вырубать засохшие ветки и увлекся этим.

А тем временем весть о его возвращении дошла до села и взбудоражила всех. Помещение конторы быстро освободили.

Руководство села попросило Варсеник вместе с детьми вернуться домой, то есть в контору. Но Варсеник отказывалась.

- Вернется хозяин, - говорила она, - он и решит...

И, взяв детей за руки, Варсеник пешком направилась к Гетапу, навстречу мужу.

Но, конечно, раньше нее прискакал туда на своем буланом коне Баграт Топальян. И на том самом холме, откуда четыре года назад с хлыстом в руке вернул назад Варсеник и ее детей, Баграт Топальян сердечно встретил Санасара.

- Так уж получилось, братец, - сказал он, соскакивая с коня, - прости. Нас обманули. Прости, забудь прошлое и не поминай его. Давай работать вместе во имя новой жизни.

Лицо Санасара Алексаняна почернело как у негра, а волосы стали совершенно белыми. Он из-под белых бровей мрачно посмотрел на Баграта Топальяна, как бы желая сказать: разве можно, сукин сын, забыть четыре года чужбины, страдания, слезы и бесприютность детей, муки Варсеник? Четыре года он ждал этого дня, тысячи раз повторял в уме те горькие слова, которые швырнет в лицо этому человеку, этим людям, но вдруг подумал, что это мелкие людишки, ничтожества, недостойные даже его гнева. Он вдруг почувствовал, что полностью исьяк, что ему нечего сказать им, и произнес с ненавистью:

- Да разве так сады содержат? Разве ж вы люди?

И Баграт Топалян улыбнулся жалко и облегченно:

- Все сады теперь твои, Санасар джан. Ты хозяин, ты и возделывай...

Их торжественно приняли в колхоз. Варсеник работала на огородах, а агроном-садовод Санасар Алексанян дни и ночи проводил в Гетапе. Он заложил новые сады на Оленьей Горе и под Карапом, расчистил от кустарников, обновил заросли кизила; на Охотничей Горе, где особенно хорошо приживались яблони, на огромной площади рассадил по плану в четырех метрах друг от друга, яблони так называемого “царского” сорта. Руководители села приезжали, смотрели, удивлялись и говорили:

- Эти сады мы назовем твоим именем, товарищ Санасар.

Домой он приходил раз в неделю, по ночам, быстро целовал растущих мальчиков, поправлял одеяло дочери, садился, долго смотрел на ее золотистые косички, успокаивался, потом спускался в темный сад и говорил:

- Я готов, Варсеник джан...

И Варсеник приносила деревянное корыто, горячую воду в ведрах и как ребенка купала мужа, окатывала из деревянного ковша горячей водой и, слыша, как побрякивает от удовольствия и распрямляется Санасар, радостно смеялась, позабыв все горе и боль.

Все горе и боль забывала она. Так было.

Но горе и боль их не забыли. Положение страны было сложным, тяжелым. Повсеместно в быстром темпе строились фабрики и заводы, гидростанции и дороги, открывались все новые рудники, прокладывались тысячи километров рельсов. Надо было срочно поднять тяжелую промышленность, государство не могло выполнить свои планы без мощной техники и сосредоточило все внимание народа на шахтах, фабриках, заводах, гигантских новостройках... Миллионы тружеников сельского хозяйства стали рабочими и строителями. Так было нужно. А потом, естественно, оказалось, что сельское хозяйство отстает, крестьяне стали рабочими, и хлеборобов поубавилось. И было решено обратить особое внимание на производство хлеба, увеличить посевную площадь, создать новые высокоурожайные сорта зерновых, обработать и превратить в пашни все новые земли. Стране был нужен хлеб. Без хлеба не было бы ни заводов, ни крупных строек. Стране был нужен хлеб, и было принято историческое решение. Но кто же не знает, что насколько важно решение, настолько же важно, кто это решение претворяет в жизнь. К сожалению и для страны, и для хонутцев, и особенно для Санасара Алексаняна, в далеком селе в далекой Армении это решение должен был претворять в жизнь Баграт Топалян.

Рано утром Баграт Топалян вызвал в контору Санасара Алексаняна и спросил:

- Постановление читал?

- Прочел, - сказал Санасар, - по моему, давно надо было принять это постановление.

Баграт Топалян помрачнел:

- А по моему, - подчеркнул он, уставив вверх палец, - там лучше меня и тебя знают, когда принимать решения. Там сидят не такие люди, как мы, товарищ Санасар.

Можно было и не отвечать, и Санасар промолчал.

- Значит, так, - сказал Баграт Топалян, - до вечера подумаешь и представишь нам список, какие сады надо вырубить.

- Вырубить? – подскочил Санасар. – Почему?

- Будем сеять хлеб, - сказал Баграт.

- На месте садов?

- Нет, у меня на голове, - съязвил Топалян, - а говоришь, что прочел постановление!

- А что, там сказано, что надо уничтожать сады?

- Нет, - встал Баграт, - но ясно написано, что каждое хозяйство обязано сдать столько-то хлеба государству. Ну а теперь скажи сам, откуда мне взять хлеб, на базаре купить?

- Но ведь это же проще простого, - стал горячиться Санасар, - надо обработать новые земли и засеять пшеницей.

- А кто и чем будет их обрабатывать? – встал перед ним Топалян. -Как я за год могу дать столько хлеба. Оставить удобные и уже обработанные земли и погнать людей в горы?

- И потому ты хочешь вырубить сады?

- Да!

- Товарищ Топалян, - решил убедить его Санасар, - килограмм зерна стоит одну копейку, а яблок – десять. Видите, какой вред мы наносим хозяйству.

- Послушай, парень, что такое яблоки и груши, э? Яблоками страну не прокормишь. На голодное брюхо кто же ест яблоки? Оттуда хлеба требуют, э, хлеба! – вновь поднял палец Топалян. – Сейчас это наша общая линия.

- Раз так, - сказал Санасар, - я выступлю на собрании.

- И пойдешь против общей линии? – улыбнулся Топалян. Он редко улыбался и правильно делал, потому что вопреки всем законам, улыбка делала его лицо еще более злым. – Или, может, ты против нашей общей линии?

- Я против твоей линии, - сказал Санасар, - и поеду в Тауш жаловаться, - и, хлопнув дверью, вышел.

Баграт Топальян разгладил рукой морщины на лице и посмотрел на висящий на стене телефон. Посмотрел, посмотрел, потом подошел и стал крутить ручку телефона...

Санасар Алексанян в село из Тауша больше не вернулся.

И вновь Варсеник осталась одна с тремя детьми. По ночам шила, а днем работала в колхозе. Хорошо хоть у нее была новая швейная машинка. Санасар написал письмо в Тифлис однокурснику-грузину, попросил достать швейную машинку “Зингер”. И через месяц получил письмо. Друг писал, что уже купил машинку. Санасар тотчас поехал в Тифлис, и его друг грузин вручил ему швейную машинку.

- Отвезешь сестрице, - сказал он.

- Вот деньги...

- Это подарок от меня, - сказал грузин, - и не продолжай!

И Санасар не стал продолжать, обнял друга, расцеловал от всей души, как родного брата.

Ну что тут было говорить, когда до слез хорошо, оттого что на свете еще есть такие люди.

Так что ночи напролет стучала и стучала машинка Варсеник. Денег мало у кого было, и кто яйца приносил, кто фасоль, кто сыр или мацун. Так что жили. У детей с едой особых трудностей не было.

Трудно им было от безотцовщины и еще оттого, что они не были похожи на других сельских ребят, не были им ровней.

Собственно, какие же они были дети. Взрослые парни: Левону 17 лет, Григору – 15, а Шамам была уже в том возрасте, в каком мать обручили.

Когда Левон и Григор выходили на улицу вместе, к ним сверстники не приставали – очень сильные и гордые были братья, и поскольку у них почти не было друзей, они дружили между собой. А кто не знает, что если братья еще и друзья, то с ними надо или дружить, или держаться от них подальше. Дружить с ними не хотели, и подальше держаться тоже не хотели. Потому выслеживали их, подстерегали и набрасывались все на одного.

После тоски по отцу самым большим горем для Левона было то, что его не приняли в комсомол, и потом, когда белофинны напали на нашу страну, его не взяли в армию. Со всем мог мириться Левон Алексанян, но не с этим. Он двое суток просидел за столом и написал письмо наркому обороны, рассказав обо всем и попросив отправить его на фронт. Не прошло и двух месяцев, как его вызвали в Тауш, в военкомат.

Военком был старый человек с одной рукой. Он долго смотрел на сидящего перед ним юношу, вероятно, сильно удивляясь, как тот посмел написать письмо лично наркому. Потом, не отрывая взгляда от лежащей перед ним на столе бумаги, заговорил:

- Значит, так, - начал он. – На твое письмо пришел ответ. Значит так: ты советский юноша и, как все юноши нашей страны, имеешь право защищать свою Родину и служить в армии. Ради этого не

имело смысла беспокоить важных людей. Мог просто явиться ко мне, - понизил он голос, стыдясь самого себя, - значит, так, сейчас не принимается во внимание, кем был до сих пор данный юноша и из какой он семьи. Все имеют право служить в армии.

- И я тоже? – обрадованно вскочил с места Левон Алексанян. – Я тоже?

- А для кого же я все это говорю? – засмеялся военком.

На следующий день Варсеник, обливаясь горючими слезами, складывала в старый потертый черный чемодан все, что нужно было сыну в дорогу, а Левон со своим братом Григором стояли перед конторой и показывали всем блестящую бумагу – решение военкома – и говорили с гордостью:

- Вот видите, меня берут в армию. Смотрите, специально вызвали, чтобы послать защищать нашу великую Родину.

А Григор, сверкая глазами, кричал:

- Маркос, брехливый Маркос, Маркос с бычьими глазами и куриными мозгами, вылезай! Аршак, где ты прячешь свою глупую голову? Напо, Чапо, Гусенок Чапо, ну выходите на площадь, э! Ну давайте, выходите. Посмотрим, это чья мать заплачет? Это мы враги, да? Нас в Красную Армию призвали.

- Да плюнь ты на них, Григор джан, - успокаивал его Левон, - будь поосторожнее, ты останешься один, а они ведь грязные типы, набросятся всем скопом...

- Пусть попробуют, - пренебрежительно сплевывая, отвечал Григор. – Кто теперь их боится? Главное, что мы уже не враги, братик, что тебя берут в армию. А раз берут тебя, то и меня возьмут, правда?

- Лучше бы ты поехал учиться, - вдруг озабоченно сказал Левон, - раз меня здесь не будет, и ты не оставайся, поезжай в Ереван, поступай в техникум, учись, дорогой мой, учись, стань человеком, как этого хотел наш отец...

- Пусть будет по-твоему, братик, - ответил Григор, и глаза его, как и всегда при воспоминаниях об отце, наполнились слезами, - ты не подумай только, что я боюсь их. Ну вот ни на столечко. Но раз ты говоришь, поеду. Эх, как я рад, что ты идешь в армию, братик...

А поздно вечером, у стога сена на току, совсем другое шептала на ухо Левону Шогер. Маленькая и озорная, похожая на козочку Шогер, сводившая с ума всех сельских парней.

- Глупый, глупый, глупый мальчишка, куда ж ты идешь? Вместо того чтоб радоваться, что тебя не берут, сам лезешь по молодости в пламя. Зачем? А меня-то как оставляешь? Как же я буду жить без тебя?

- Что ты говоришь, Шогер, - опьяненный горячим дыханием и словами Шогер, шептал Левон, - что это с тобой случилось? Еле уговорил тебя прийти сюда, а теперь ты вот что говоришь.



- А что же мне делать, раз уезжаешь, - заплакала Шогер. – Для кого же мне теперь ломаться? Я люблю тебя, Левон... Я люблю тебя, Левон джан, - и вдруг крепко обняла юношу, нашла его губы и стала иступленно, будто в горячке, целовать губы, глаза, брови, щеки, открытую сильную грудь и снова, глаза, щеки, губы...

- Шогер, Шогер джан!

- Джан, джан, джан, - шептала Шогер, - я твоя, твоя, и больше никого на свете не полюблю. Я твоя до конца жизни. Хочешь, я сейчас стану твоей женой, хочешь?

- Ты что, с ума сошла? – выдохнул, отодвинувшись, Левон.

- Да, да, с ума сошла, я с ума схожу по тебе, мой любимый, мой единственный...

- Значит, действительно любишь меня, значит, будешь ждать?

- Сто лет, тысячу лет, до самой могилы, Левон джан! Хочешь, я перейду к вам жить? Будем с тетушкой Варсеник ждать тебя, хочешь?

- Да, - сказал Левон.

- Маме своей скажешь, скажешь маме?

- Нет, - сказал Левон, - стесняюсь, Шогер джан, уеду, напишу в письме...

- Так, значит, стесняешься сказать, что любишь меня, да? А я не стесняюсь! Хочешь, на весь мир объявлю, что люблю тебя, хочешь?

- Нет, нет, - радостно засмеялся Левон, - вдруг услышат влюбленные в тебя парни нашего села...

- Ну и пусть услышат, черт с ними. Никто из них твоего мизинца не стоит. Пусть слышат, - сказала Шогер и вдруг выскользнула из объятий юноши, вышла из тени стога, встала на освещенное лунной место и закричала изо всех сил. – Эй, хонутцы, знайте все, что я люблю Левона, эй, слышите, люблю, люблю, люблю!

Юноша от неожиданности застыл на секунду, потом вскочил, бросился к девушке, схватил ее, но так как Шогер то и дело вырывалась из его рук и продолжала кричать, обнял ее, закрыл ей рот своими губами.

А на следующий день Варсеник и Григор проводили Левона до Тауша, и когда грузовая машина, в которой сидели еще несколько радостных парней, должна была тронуться, Варсеник обняла сына и сказала спокойно, потому что проплакала всю ночь и решила проводить сына с сухими глазами:

- Левон джан, сынок мой, я несчастная и измученная женщина. У меня не осталось на свете ничего, кроме моих детей. И будто на лбу у меня написано, что от моего сердца должны все время что-нибудь отрывать и уносить. Сперва ушел твой отец, а теперь и ты. Иди, что поделаешь, иди, но пожалей меня и береги себя, хотя бы ради своей матери.

А через год проводила в Ереван Григора и Шамам. Григора – в садоводческий техникум на учебу, а Шамам – в больницу.

Простыла, заболела девочка с золотыми косичками. Врач в Тауше сказал, что лучше отвезти ее в столицу, потому что у нее плеврит, а здесь его лечить не умеют.

И в Хонуте Варсеник осталась одна-одинешенька.

Впрочем, и не успела она почувствовать одиночество, когда как-то утром вошла Шогер, пряча за спиной какой-то конверт.

- Доброе утро, тетушка Варсеник.

- Доброе утро, доченька, - ответила Варсеник.

- Тетушка Варсеник, Левон ничего не говорил тебе, не писал ничего?

- Говорил, говорил, - улыбнулась Варсеник, - Будьте достойны друг друга, и да соединит вас господь.

Девушка густо покраснела и улыбнулась:

- Тетушка Варсеник, - сказала она, - можно я перейду к тебе жить? Будем вместе ждать Левона, я слово дала!

- А чтоскажут твои мать и отец, дитя мое?

- Если ты скажешь “да”, что могут сказать мои родители, кто может пойти против тетушки Варсеник? Ведь я слово дала, хочу ждать Левона.

- Раз дала слово, значит, должна ждать, - сказала Варсеник неожиданно строго, потому что говорила не просто этой взбалмошной девчужке, а всем ожидающим, всему миру и себе самой. – Значит, должна терпеть и ждать где бы ни была: у вас дома, у меня, или в другом месте.

Глаза девушки сразу наполнились слезами.

- Боюсь, тетушка Варсеник, боюсь. Очень уж пристают. Ни днем, ни ночью покоя нет. И отец, и мать, да и парни тоже. Боюсь, не выдержу. А если буду у тебя, выдержу, и никто мне не скажет, что против судьбы не пойдешь. И потом, тетушка Варсеник, если Левон узнает, что ты не защитила меня, может обидеться, правда?

Варсеник и сама удивилась, как неожиданно рассмеялась, глядя на эту хитрую, как чертенок, девушку.

- Ну так и скажи, что мне некуда деваться, - продолжая смеяться, сказала она. – Согласна, я согласна, и поговорю с твоими родителями. Делай, как тебе сердце подсказывает. Тем более, - добавила Варсеник, - тем более, что ты вернула смех в наш дом, доченька... Я давно не смеялась... Прости, господи! А раз уж ты развеселила меня, давай и я сделаю тебе сюрприз, - она

достала из-за пазухи фотокарточку и протянула девушке, - это мой Левон, я вчера получила, а на груди у него медаль “За отвагу”... Да буду я жертвой за моего отважного мальчика.

- Я тоже получила, - радостно засмеялась девушка, протягивая конверт, - и принесла тебе, чтобы ты порадовалась, тетушка Варсеник.

- Живи счастливо, - от всей души пожелала Варсеник, мгновенно подавив в себе вспышку ревности, - и с сегодняшнего дня зови меня мамой, доченька, потому что меня сейчас никто не называет мамой. А мне так хочется этого.

И они стали ждать вместе: Шогер – Левона, а Варсеник – Санасара, Левона, Григора и Шамам. Сто раз ходила Варсеник в контору и просила разрешить ей съездить в Ереван, повидать сына и дочь. Не разрешили. Говорили, что нет рабочих рук, а работы много. Стране нужен табак. На что это похоже, что страна, у которой и без того тысячи забот, вынуждена покупать табак за валюту. Надо было выращивать собственный табак, и пришло постановление, чтобы там, где это возможно, возделывать табак. В Хонуте это было возможно. И климатические условия были благоприятны, да и земля бывших садов была истощена зерновыми, и руководство было всегда готово выполнять решения. Ликвидировали зерновые, посадили табак. В первый же год получили богатый урожай. Но кто же не знает, что урожай не приходит сам собой и нет более трудного и тяжелого дела, чем выращивание табака. Весь день приходилось работать согнувшись, и спины женщин ныли от боли. А в полдень в тени чудом уцелевшего дикого дерева груши молодые женщины тщетно пытались покормить грудью изнывающих от зноя малюток, которые с отвращением отталкивали отравленные никотином руки и почерневшие соски матерей и надрывно кричали.

Варсеник тоже работала на табаке. И не удивлялась. Потому что привыкла, что ее всегда посылают на самую трудную работу. Чтобы не зазнавалась, потому что и без того делают великое одолжение, разрешая ей работать в колхозе. И Варсеник работала молча, терпеливо и безропотно. Чем тяжелее была работа, тем легче было у нее на душе, так как она сознавала, что не имеет права на легкую жизнь, в то время как муж и дети ее терпят мучения. И думала, что если она будет долго ждать, мучаться и терпеть, господь в один прекрасный день сочтет наказание достаточным и вложит в ножны свой карающий меч.

Но господь, как видно, сам не ведал, что творил, потому что перемешал все, и в том числе людские слезы и смех.

Началась Великая Отечественная война. Горе охватило всю страну. Оно пришло и в Хонут. Не было ни одного дома, откуда не неслись бы стенания и плач. И вместе со всеми скорбела Варсеник. Санасара нет. Левон, значит, останется в армии. Призовут в армию и Григора. Шамам еще в больнице. Ну как тут не скорбеть и не присоединиться к безутешному плачу родственников каждого уходящего на фронт. И во всеобщем этом горе, всеобщей этой мгле словно луч солнца, по удивительной прихоти судьбы, Варсеник вдруг получила письмо. Оно было не от Левона и не от Григора. От них письма приходили часто. Письмо написал несчастный и пропавший муж Варсеник Санасар Алексанян.

Это было так неожиданно, что Варсеник больше плакала, чем радовалась. Потому что она все это время фанатически убеждала себя, что муж ее жив и вернется, сотни раз оплакивала его и даже

представляла, как умирает на чужбине муж со слезами на глазах и тоской по детям в сердце. Но письмо было настолько реальным, даже запах его был знакомым и родным, что не оставляло места для сомнений. Как видно, судьбе было угодно, чтобы еще раз произошло чудо, чтобы из небытия вернулся человек, и еще раз взбудоражилась бы, возликовала истерзанная душа Варсеник.

После целой тетрадной страницы ласковых и нежных слов Санасар писал, что, учитывая, что он получил новые, морозоустойчивые сорта яблонь и груш и со своей бригадой разбил сады на тысяче гектаров, а также учитывая, что за весь этот период у него не было ни одного нарушения режима, руководство положительно отнеслось к его просьбе и разрешило ему в числе нескольких достойных отправиться на фронт для борьбы против немецких захватчиков.

Санасар Александян писал также, что находится в маленьком русском городке (название городка было зачеркнуто). И что они почти в действующей армии. Ждут пополнения, чтобы направиться на фронт. И что он совсем не боится (разве что-нибудь могло его теперь испугать), и желает того же светочу своей души Варсеник – ничего не бояться и ждать, потому что судьба спасала его и выводила не из таких мест (о том, что она забросила его туда, он забыл), что он больше никогда не допустит, чтоб с ним что-нибудь стряслось. Потому что он теперь будто заново родился и вновь должен прожить со своей Варсеник, своими Леоном, Григором и Шамам, заново должен стать опорой детям и настоящим мужем своей многострадальной Варсеник. Он писал также, что всей душой хотел бы, подобно птице, прилететь к ней, на родину, к родному очагу, но знает, что кратчайшая дорога в Хонут ведет через Берлин. Победят проклятого Гитлера, принесшего столько горя и страданий человечеству, и он вернется домой. Со спокойной совестью. И тогда он, наконец, сведет счеты с хонутским отродьем Гитлера Баграмом Топаляном (слова “Багра Топалян” были почему-то вычеркнуты, но, видно, не от души, потому что сквозь линии свободно читались). Он спрашивал, осталось ли что-нибудь от садов, и тут же успокаивал, что, мол, ничего, он вернется и такие сады насадит! Такие, что подобных хонутским не будет во всем мире.

Ради такого неслыханного счастья Варсеник совершила грех, зарезала свою единственную суягную овцу. Часть мяса она отослала в Ереван Григору и Шамам, а большую часть нарезала и сварила в огромном котле для голодных, исхудавших за пять военных месяцев ребятишек села. Сказала, чтобы дети пришли со своими ложками и тарелками, и теперь, глядя как ребятишки с трудом протягивают огромные тарелки, наливала им обед и плакала.

- Ешьте, мои маленькие, ешьте, - говорила она, наливала и плакала.

Если бы бог существовал, он принял бы эту овцу как самую большую жертву, которую когда-либо приносили ему на алтарь. Радостные крики изголодавшихся детей, подобно нежным напевам лиры, ласкали бы ему слух и смягчили его гнев не только за несуществующие грехи Варсеник, но и за все бывшие и небывшие грехи человечества.

Но бога, как видно, не было.

И лилась кровь сотен тысяч невинных людей, разрушались города и села, и вообще происходили неслыханно-чудовищные несчастья, лишенные, казалось, всякой логики, хотя разве несчастья могут иметь какую-то логику для своих жертв.

Едва успела Варсеник сообщить детям радостную весть о том, что отец их жив-здоров и служит в армии, как почтальон принес ей новое письмо.

Дома были Варсеник и Шогер, и Варсеник радостно вскочила с места.

- От кого? – нетерпеливо спросила она. – От Санасара, Левона, Григора, Шамам?

- Погоди, прочту, мамочка, - засмеялась Шогер, - погоди. – И вдруг удивленно вскрикнула, - письмо из Ташкента.

- Откуда?

- Из Ташкента, - повторила девушка.

- Ва! – воскликнула Варсеник. – Вот тебе раз! Санасар когда-то жил в этом городе, может, завел там семью, дом и теперь его ребенок пишет? Если так, сколько их там ни было, привезу и буду растить, бог свидетель...

- Дети и пишут, - глядя то на письмо, то на Варсеник, беспокойно сказала Шогер, - вернее, от имени детей пишет их учительница. – Она прочла несколько строк в уме, потом, будто ужаленная, вскочила, отбросила письмо и выбежала, выкрикивая:

- Не буду читать, не буду, не хочу, не хочу...

Варсеник взяла письмо, прижала к груди, потому что вдруг острая боль пронзила сердце, и мгновенно отяжелевшими, неверными шагами вышла она из дому, чтобы найти кого-нибудь, кто понимает по-русски.

Писала воспитательница 144 детдома Ташкента Наталья Павловна Полищук: “Дорогая мама Варсеник! Вам пишут воспитанники детдома, и мы называем Вас мамой не из вежливости. То, что сделал для нас Ваш муж, Санасар Варданович Алексанян, мог сделать только любящий отец. Наш детдом находился в городе Борисово. Когда немцы стали бомбить город, было решено эвакуировать детей. Утром мы должны были сесть в поезд, но проклятые фашисты сбросили ночью бомбу на наше здание. Дом стал гореть, а дети спали. Началась неопишуемая паника. Дети плакали и мешали друг другу. Все растерялись, и я не знала, кому помочь, что делать. И тут, как в сказке, появились наши спасители, трое красноармейцев, одним из которых был Ваш муж, Алексанян. Они патрулировали на улице и, увидев пожар, поспешили на помощь. Как описать Вам, ценой каких сверхчеловеческих усилий им удалось вынести из горящего дома шестьдесят пять обезумевших от ужаса детей. Когда выносили последнего ребенка, вдруг рухнула крыша, и Ваш муж с нашим воспитанником Федей Махровым остались под горящими балками. Когда их извлекли из развалин, оказалось, что в последний миг Санасар Алексанян прикрыл своим телом ребенка. Федя цел, а Ваш дорогой муж и наш спаситель погиб.

Я знаю, что невозможно облегчить Вашу боль, успокоить огромную горе Ваше, но если что-то может хоть немного утешить Вас, пусть это будут искренние чувства и слезы благодарности шестидесяти пяти детей и их старой воспитательницы, что мы пролили на его могиле. Мы никогда не забудем жителя далекого армянского села Хонут Санасара Вардановича Алексаняна, который

сделал для нас родными и Армению, и Хонут, послужил образцом самоотверженности для будущих шестидесяти пяти граждан нашей страны.

А по просьбе сироты Феди Махрова, спасая которого погиб Ваш муж, мы присвоили ему отчество Санасарович.

Просим Вас укрепиться душой и быть гордой тем, что у Вас был такой самоотверженный и смелый муж. Непобедим тот народ, у которого есть такие сыновья.

Смерть немецким оккупантам!”

Потом уже, когда внимательно изучили и сравнили письма от Санасара и из Ташкента, оказалось, что этот ужасный случай произошел в ту самую ночь, перед которой Санасар написал свое письмо светочу своей души Варсеник, 24-го октября 1941 года.

## ПАМЯТНИК

Каменщик Сурен вывел последнюю цифру “1”, вытер пальцем и отряхнул набившуюся в углубление пыль, нагнулся, взял лежащий в тени камня небольшой влажный кувшин и выпил холодной воды. Потом тыльной стороной ладони отер усы и вновь взял в руки молоток. За работой он не чувствовал голода, пока кто-нибудь не напомнит.

Но всегда кто-нибудь напоминал, особенно жена, Агуник.

- Сурен, - крикнула она, появившись во дворе, и сразу вокруг нее откуда-то собрались квохчущие куры и петушки, - обед сюда принести или домой придешь? – и тут же набросилась на голодных кур: - а, чтоб вы сдохли, разве не только что кормила? Чтоб вас лиса слопала и избавила бы меня от вас.

- Сюда неси, - сказал Сурен.

Агуник вынесла на подносе обед, хлеб, помидоры и сыр, сама села напротив мужа, глядя на него.

- Стаканчик водочки тоже не помешал бы, - пробурчал в усы Сурен.

Агуник засмеялась, извлекла из кармана четвертинку и налила в стаканчик.

- Ну, жена, - улыбнулся каменщик, - ты держишь водку в кармане прямо как заправский алкоголик.

- Хотела тебя порадовать, - сказала Агуник.

- Порадовала, - буркнул Сурен.

Он с удовольствием выпил водку, понюхал нарезанный помидор и начал есть. Хороший был обед – с мясом, картошкой, он напоминал нечто трогательно-знакомое. Сурен съел еще ложку, вдруг вспомнил и сказал:

- Не обижайся, Агуник, твой обед немножко похож на тот, о котором я тебе уже сто раз рассказывал. Похож, но только немножко. Тот обед, что сварила тетушка Варсеник, был куда лучше, точно, намного лучше...

- Ну, для тебя в мире существует одна лишь тетушка Варсеник, - слегка обиделась Агуник и замолчала.

- Чего нос повесила? – переходя к хлебу с сыром, спросил Сурен.

- Да ведь война была, голод, а ты голодный мальчик, поел - вот и запомнилось. В те годы что бы ни съел, все показалось бы вкусным... В то время и пустая похлебка из зелени пиперт была вкусна...

Сурен нахмурился и встал.

- Забирай посуду и уходи. Я работаю.

- Ну и вообще, куда нам до тетушки Варсеник! У нее руки золотые, она все село кормила, - тут же отступила Агуник. - Говорят, Шамам в своих письмах из больницы все время об этом писала. Писала: “Ах, мамочка, поесть бы еще раз сваренный тобой обед, а там будь что будет”.

- Правда, - сказал Сурен, - я сам читал.

Он снова сел, зажег сигарету, закурил, глубоко затягиваясь, озабоченно и пристально посмотрел на камень, на котором тени четко подчеркнули слова “Санасар Алексанян”. Потом встал, взял линейку и острый нож, примерился, провел две линии и между ними нацарапал широкими буквами “Шамам – 1924-1941”.



## ШАМАМ

Шамам лежала на третьем этаже третьей ереванской больницы в палате 32, где, кроме нее, было еще три человека. Вернее, теперь их осталось только двое, третья койка, на которой несколько дней тому назад лежала Пайцар, женщина из села Сарухан Нор-Баязетского района, была пуста. Пайцар упростила врачей, чтобы ее перевели в другую палату.

- Я больная женщина, перенесла операцию, - говорила она, - больше с ней не могу: все время смешит до боли в животе.

Вот ее и перевели, потому что остальные больные ни за что не хотели расставаться с Шамам.

- Ее смех – наше лекарство, - говорили они.

А у девушки был большой запас этого лекарства. Еще с детства. Столько смеялась и смешила людей, что ее прозвали Хохотушкой. Ее сразу можно было найти по чистому звонкому смеху. Во всем она видела смешные черточки, в каждом движении находила смешное. Кто бы ни проходил по улице, она умудрялась точь-в-точь скопировать его движения. Люди покатывались со смеху. Она умела легким движением, незаметной гримасой так изобразить кого-нибудь из знакомых, что невозможно было удержаться от смеха.

Даже врачи частенько захаживали в ее палату.

- Ахчик джан, доченька дорогая, можно, передразни меня? – просила приехавшая из Карабаха врач Аревик Цолаковна.

- Невозможно, доктор джан, - тем же тоном отвечала Шамам, - господь бог не разрешает, дорогая!

И врачи, хохоча, выскакивали из палаты.

Ей не было еще трех лет, когда она рассмешила родителей. Каждый раз, возвращаясь домой, Санасар дарил девочке маленький сверток разноцветного драже, которое называли “копеечным”, потому что их взаправду продавали по копейке за штуку. И однажды Варсеник увидела, как девочка несет со двора в ладошке высохшие шарики овечьего помета.

- Это еще что? – всплеснула руками Варсеник.

- “Копеечки”, - серьезно ответила Шамам, - собрала для Григора.

- А сама-то почему не ешь?

- А я “копеечки” такого цвета не люблю, - все так же серьезно ответила Шамам, потом расхохоталась и удрала во двор.

А через несколько лет, когда Санасара уже не было и семья жила в хлеву, Шамам выкинула другой фокус. В одном из уголков хлева Варсеник собрала 20-25 яиц и посадила на них наседку. Вечером, после работы, вернулась домой и увидела, что наседка разгуливает по двору. Поймала,

снова посадила на яйца, но наседка опять убежала. Варсеник удивилась, что произошло, ведь наседка уже сидела на яйцах? Тайну раскрыла Шамам:

- Глупая курица, - сказала она, смеясь, - когда я, мамочка, мыла пол, решила ей лапки вымыть, чтоб не пачкала пол. Поймала, сунула в тазик и как следует выкупала. А она разоралась, расшумелась, будто ее режут, и убежала.

- Простудила наседку, чтоб тебе пусто было, разве сидящую на яйцах наседку можно купать? – невольно засмеялась Варсеник

- Скажите, пожалуйста, какая барыня, - ехидно ответила Шамам и вдруг стала квохтать точь-в-точь как наседка, - а я-то думаю, о чем это она говорит!

Ну как было не смеяться Варсеник, хотя сердце и обливалось кровью!

Никогда и ни от чего Шамам сама не падала духом и не любила, когда кто-либо из окружающих вдруг грустил или падал духом. Если не могла утешить, старалась рассмешить. Смех был для нее и мечом и щитом, им она нападала и защищалась, им сражалась и против своей тяжелой судьбы, и за других.

Когда проживавшие в Ереване дядя Петрос и его жена Ануш уложили Шамам в больницу, состояние девочки было очень тяжелым, она бредила, металась в жару, отбрасывала одеяло, рассыпав золотистые волосы по подушке, и пела Комитаса... “Я горю в огне, сгораю и уже отесан камень, мой маленький красный камень”...

Женщины из палаты и врачи, которые уже успели полюбить эту жизнерадостную, с огоньком, девочку, плакали, не скрывая слез, плакали от собственного бессилия и несправедливости судьбы. И каждый старался успокоить, облегчить ее страдания:

- Что тебе дать, солнышко?

- Где болит-то, зоренька наша?

- Чем помочь тебе, скажи?

И вдруг Шамам открыла горящие глаза, улыбнулась и сказала:

- Лед

- Что-что?

- Лед, - повторила девушка.

- В эту летнюю жару откуда взять лед? – растерялась медсестра.

И Шамам сказала:

- Напишите письмо моему отцу – он пришлет.

В этом вопросе она не была похожа на братьев. Они стеснялись своего состояния, при незнакомых скрывали, избегали говорить на эту тему, а Шамам – наоборот, сама говорила об отце к месту и не к месту.

...Был урок географии и учитель спросил:

- Итак, обобщим. Кто проживает на далеком Севере, ребята?

- Чукчи, - выкрикнул один.

- Молодец, а еще?

- Ненцы

- Молодец. Еще?

- Мой отец, - серьезно сказала Шамам.

И получался удивительный психологический парадокс: Левона и Григора притесняли, гнали за это, а Шамам сочувствовали и защищали. Другой внук того же тер-Маркоса, который был секретарем, даже предложил Шамам подать заявление о приеме в комсомол, но девочка лишь трянула золотистыми косами.

- Не выйдет, - сказала она. – У меня есть старшие братья. Сперва они, потом я...

И вопрос был закрыт.

Врачебный персонал третьего этажа больницы делал все, чтобы вылечить Шамам. Не жалели никаких лекарств, а о внимании и говорить не стоило, потому что сами старались удостоиться ее внимания. Особенно один из молодых врачей, которого все больные звали просто Арто. Арто не отходил от койки Шамам, все время искал повод еще раз заглянуть в зеленоватые глаза девушки, увидеть ее золотистые волосы. Знал, что Шамам и его передразнивает, но не обижался. А передразнивать его было совсем не трудно, потому то, будучи жителем ереванского района Конд, Арто очень часто употреблял слова “ара” и “то”.

Иногда он приносил цветы, чаще всего темно-красные, еще не распустившиеся бутоны роз, и тайком от Шамам посылал их через кого-нибудь из медсестер. Но сестра, ставя цветы в вазу у изголовья больной, восторженно улыбаясь, говорила:

- Ох, большого сердца человек наш доктор Арто...

И после этого не трудно было угадать, кто принес розы.

Эта тема весь день обсуждалась в палате

- Большой души человек, - говорили одни.

- Полюбил он, полюбил, знаешь, что такое любовь? – восклицали другие.

- Послушай, Шамам, кажется, доктор Арто влюбился в тебя? Что ты об этом думаешь?

Шамам оглядывала всех ясным, смеющимся взором, потом неестественно тяжело вздыхала и, щуря глаза, говорила голосом Аревик Цолаковны:

- Невозможно, дорогая, я дала слово нашему свиноводу Пато...

И взрыв смеха сотрясал палату...

Иногда она издевалась над своей болезнью:

- Какая удача эта моя болезнь, - говорила, - если б не она, пришлось бы всю жизнь провести в Хонуте, не зная даже, какая восхитительная вещь белая булочка, смоченная в горячем какао. Нет, мне повезло! Ничего вкуснее на свете нет... Если не считать обедов, которые готовит моя мама Варсеник, - добавляла она с неожиданной тоской и отворачивалась к стене.

Она обязательно выжила бы, если бы пролежала еще три месяца в больнице. Жизнерадостность, оптимизм, отличное питание, новые лекарства и, самое главное, человеческая забота и внимание обязательно спасли бы эту светлую девушку. Скольких спасали в той же больнице, но ей не повезло. И ее несчастье называлась "война".

Все сразу пошло вверх дном. Тяжелая давящая тишина опустилась на палаты, сразу ухудшилось питание, стали строго учитываться лекарства, и остались, собственно, одни пилюли от головной боли, большую часть врачей немедленно призвали, на стенах больницы все плакаты и лозунги заменил лишь один - "Все для фронта".

Перед уходом на фронт доктор Арто посетил своих больных. Он был в военной форме с лейтенантскими знаками отличия и так изменился, что поначалу никто его не узнал. Пришел, обошел всех своих больных, обследовал последний раз, дал советы, выписал рецепты, потом присел на койку Шамам. И только присел, у остальных больных сразу нашлись дела, и они, кряхтя, вышли из палаты.

- Как себя чувствуешь, златовласая девушка? - улыбнулся Арто.

- Хорошо, - ответила Шамам.

- Вот принес для тебя туты из нашего сада, - сказал Арто, - давай вместе поедим. Кто знает, когда еще доведется мне поесть ее.

Съели несколько ягод, держа их за хвостики. Шамам рассмеялась:

- Впервые заметила, что у туты есть хвостики, - сказала она, - в нашем селе тута мелкая, мы ее пригоршнями едим.

- Давай и сейчас есть пригоршнями, - весело предложил Арто.

- Нет, не получится, - отодвинулась девушка. - Все свое время, доктор.

Доктор Арто с обожанием смотрел на девушку, хотел что-то сказать, задумался и произнес:

- Самое главное для тебя – не простудиться, понимаешь? Пока полностью не поправишься, не выписывайся, веди себя хорошо, златовласая девушка.

- Хорошо, - сказала Шамам и вдруг засмеялась.

- Почему смеешься, Шамам?

- Ты впервые говорил, не употребляя ни “ара”, ни “то”, доктор Арто.

Арто тоже засмеялся.

- Эх, - вздохнул он, - оставлю их здесь, в Ереване. Там ни “ара”, ни “то” не поймут, златовласка, будем говорить по-русски. – Протянул руку, осторожно, по-братски погладил девушке волосы и вышел.

Не прошло и месяца, как больницу закрыли. Из России прибыли эшелоны с ранеными, надо было их разместить, и все больницы и многие школы Еревана в один день превратились в военные госпитали.

Кого из больных забрали родственники, кого просто выписали. Таков был приказ. И не было другого выхода. За Шамам пришли дядя Петрос и Ануш, и они медленно, пешком повели девушку по улице Гнуни к себе домой.

- Разве у вас есть место, дядя, может, отправите меня в село? – сказала Шамам.

Ануш заплакала.

- А кто остался дома, детка, ребят взяли в армию. Хоть тобой утешимся.

- Думаю, я недолго буду вас стеснять, тетя Ануш, - сказала Шамам.

Дядя Петрос понял.

- Не мели вздор, - рассердился он. -Я тебе прямо у нас дома и замуж выдам, как дочку Тевана – привез и замуж выдал. Сейчас у нее трое детей и работает кондуктором на трамвае. А болела тяжелее тебя.

- Не хочу быть кондуктором, - засмеялась Шамам, - я решила стать врачом, дядя Петрос.

- Конечно станешь, доченька моя, - подтвердила Ануш.

Медленно прошли мимо жилого дома завода каучук.

- Дядя Петрос, - спросила Шамам, - а почему нет моего брата Григора? В больнице каждый день навещал, а последнюю неделю куда-то пропал?

Ануш поперхнулась и в растерянности притворно закашляла, чтобы девушка ничего не заметила.

- Наверное, занят очень, - свирепо глядя на жену, сказал Петрос. – Война ведь, кажется, всех молодых забирают, дочка.

- Моя мама не выдержит, дядя – заплакала Шамам, - моя мама не выживет!

Но Шамам ошиблась. Ее мать Варсеник выдержала и выжила. Не выжила Шамам. Как она и предчувствовала, - недолго стесняла дядю Петроса и тетю Ануш, да и вообще кого бы то ни было. В каком часу ночи угасла эта светлая хохотушка, никто и не узнал, потому что угасла она тихо и безмолвно, как свеча.

Кое-как по телефону связались с Таушем, попросили оповестить Варсеник, что ее дочь выписана из больницы и ждет ее в дядином доме. Потом сели, подсчитали за сколько дней в это тяжелое военное время сможет добраться до города Варсеник, и решили похоронить златовласую девчущку. Было лето, жара. И похоронили в присутствии нескольких родственников, тихо, без музыки, на кладбище близ озера Тохмах. И женщины зарыдали в голос на маленькой могилке прекрасной и несчастной Шамам, оплакивая и ее, и всех своих, и черную судьбу Варсеник.

И хорошо сделали, что похоронили. Варсеник добралась до Еревана лишь через четыре дня. Она не нашла ни машины, ни даже лошади, и прошла весь путь от Хонута до Еревана пешком – по склону горы Мурхуз, где в детстве Шамам, подобно козочке, перепрыгивала с камня на камень, оглашая воздух своим переливчатым смехом, потом по берегу Севана, через Раздан и деревню “Сухой фонтан”, через село Мгуб и через Канакер вошла, оставив за собой двести пятьдесят километров, в город, чтобы узнать, что уже три дня как похоронили ее дочь и что ее сын Григор находится в Ереванской тюрьме.

## ПАМЯТНИК

Из Еревана приехал фотограф и на два дня оторвал Сурена от работы. Восхищенно обошел вокруг памятника погибшим хонутцам, сфотографировал с самых разных углов и при разном освещении. С Суреном и без него. Столько фотографировал, что каменщик не выдержал.

- Браток, - спросил он, - ты столько снимаешь, потому что не уверен, что что-нибудь получится?

Фотограф засмеялся:

- Я профессионал, работаю в газете, - сказал он, - мне и одного снимка достаточно.

- А зачем же столько щелкаешь?

- Чтобы напечатать в разных газетах и журналах, - сказал фотограф, - чтобы разослать во все центральные газеты и за границу.

- И по твоему, какой-то хонутский воин заинтересует их?, - спросил польщенный каменщик Сурен.

- Всех, - сказал фотограф, - всех, кто не хочет больше войны.

- Сразу видно, что работаешь в газете, - почему-то съязвил Сурен, - прямо заголовками говоришь.

- Сразу видно, что это твоя первая работа, - не остался в долгу фотограф, - еще наивен и неопытен, и, наверное, именно поэтому у тебя и получилось.

Сурен удивленно засмеялся, потому что это действительно была его первая работа. Первая большая работа. И он остался бы простым, ну, может, не совсем простым, но каменщиком, если бы не рассердился и не взыграла бы в жилах его кровь хонутца.

... Его вывели из себя и сделали скульптором приглашенные из города профессиональные, как говорит этот фотограф, скульпторы. Приглашены были поочередно трое, и все трое, будто сговорившись, в первую очередь спрашивали:

- А сколько заплатите?

Не спрашивали, что должны изваять, есть ли проект, где должен быть установлен памятник и кто должен соорудить постамент. Ни одного подобного вопроса, только:

- А сколько заплатите?

И это было очень оскорбительно. Хотя бы спрашивали по-другому, или подождали бы, пока люди сами предложат. В конце концов, ведь не бесплатно же работали бы. Если уж человека специально приглашают из Еревана, да еще и профессионала, то вопрос оплаты, конечно же, уже решен.

И председатель Цолак с горечью сказал:

- Довольно много денег собрали, да рука не поднимается им давать. Что может сделать тот, кто с самого начала говорит лишь о деньгах, - что-нибудь безвкусное и бездарное.

И вдруг обратился прямо к Сурену, который зашел в правление за какой-то справкой.

- Да что у нас гордости нет? Вот ты, если захочешь, не сможешь разве сделать этот памятник?

- Я? – оглядываясь по сторонам, ошеломленно спросил каменщик Сурен.

- Ты, ты. Чем ты не скульптор? Чем, к примеру, плох родник, что ты изваял в память отца? Люди приходят туда не столько воды напиться, сколько твоей работой полюбоваться!

- Да, но то родник, а это огромный памятник!

- Руки-то ведь те же, - сказал председатель Цолак. – А главное, ты знаешь, что надо делать и для кого. Работая над этим памятником, ты будешь помнить и о своем отце, и о дяде, и о брате, и о Санасаре и Левоне, и о соседском сыне Шамире, и обо всех остальных. Обо всех погибших хонутских ребятах. А о ком будет думать этот скульптор, я и не знаю...

Вскипела кровь у каменщика Сурена, залила лицо краской.

- Говоришь, попробовать, Цолак?

- Говорю – приступай! – отрезал Цолак. – И черт с ними, зачем деньги чужим людям отдавать?

Каменщик Сурен обиделся.

- Если речь идет о деньгах, я пойду. Я памятник своему отцу за деньги делать не буду!

- Послушай, а что ж нам делать с деньгами, раздать людям обратно?

- Нет, - сказал Сурен, - зачем возвращать? На эти деньги построй ясли. Для тех же людей. Бабы до сих пор ходят на работу, привязав, как встарь, малышей к спинам. Стыдно, в конце концов!

- Ай да Сурен, - хлопнув его по спине кулаком, восхищенно воскликнул Цолак, - да ты, парень, настоящий государственный деятель!

Все это промелькнуло в голове у Сурена, пока фотограф, прищутив глаза, изучал его.

- Что? – заметив растерянность собеседника, засмеялся тот. – Разве я не прав? Разве это не первая твоя работа?

- Первая, браток, ты прав, - сказал каменщик Сурен.

Проводив фотографа, Сурен вернулся домой в хорошем настроении. Не заходя в дом, сразу направился на рабочую площадку, где не был два дня. Снял с камня брезент, еще раз прочел уже высеченное. Еще раз убедился, что никаких ошибок нет, провел новые линии и выцарапал между ними: “Тригор, 1922-1941”.

И взял в руки молоток и резец.



## ГРИГОР

Столица потрясла Григора. Правда, он много слышал от разных людей об асфальте, трамвае, цирке, о кябабе и лимонаде, но увиденное было верхом его воображения. Несколько дней он, разинув от удивления рот, бродил по городу, с опаской садился на трамвай и трясся в нем от одного конца города в другой. Вместе с непривычно разодетой пестрой толпой шагал взад и вперед по улице Абовяна, подолгу задерживался у витрин магазинов, зачарованно глядел на игрушки, на необычно одетые манекены с желтыми лицами и красными губами, на разнообразные печенья и шоколадные конфеты, от одного вида которых текли слюнки. Но самое большое впечатление на него произвел, конечно, рынок, где чего только не было и чем только не торговали. Там были разноцветные фигурки, глиняные кошечки и петушки с отверстиями на спине, красивые ножи с костяными рукоятками, разнообразные гребни и зеркала, красные леденцовые петушки и сахарные наганы! Маленькие ребятишки с влажными кувшинами в руках сновали в толпе и выкрикивали тонкими, звонкими голосками:

- Кому воды, воды!

И в то же время пели:

- Кому ереванской холодной воды, только что набранной из родника... - и снова кричали: - кому холодной воды!

Спокойно и с достоинством переходил от одной группы торговцев к другой Сеник-ага, презрительно поглядывая на водоносов. Если он когда-либо и был агой, то от всего его богатства остался, наверное, только этот чудесный, необычный чайник с длинным, свисавшим через плечо носиком, который он нес на спине. На поясе, в специальных гнездах, разместились стаканы с подстаканниками.

- Кому сладкого чаю? – время от времени лениво выкрикивал Сеник-ага. Ему протягивали деньги, а он передавал стакан, потом наклонялся вперед так ловко, так мастерски, что чай из носика чайника прямой струйкой лился точно в протянутый стакан.

Это было так интересно, что даже Григор, мысленно прикинув свою наличность, купил стакан чаю; это был великолепный чай – горячий, ароматный, сладкий.

Потом он остановился рядом с другим необычным человеком и его необычным агрегатом, похожим на старую фотографическую камеру на четырех ножках, но не снимающую, а показывающую картинку. Люди платили деньги и, прикинув одним глазом к окуляру аппарата, слушали, как хозяин, поочередно меняя карточки, громкогласно разъяснял:

- Первое! Лондон, столица Англии! На второй – Нью-Йорк, стодвадцатипятиэтажный небоскреб; нищие у стен Сиона. Смотрите! Столетний грузчик-перс! Молодые красавицы-гречанки! Спешите увидеть!

Был август, зной, пекло солнце, но Григор никак не мог уйти с рынка. Разноголосые выкрики водоносов, призывы расхваливающих свой товар торговцев, щедрое разноцветье плодов, острый

аромат зелени и специй, блеск шалей и шелков пьянили парня, а от зовущего, соблазнительного запаха кябаба кружилась голова. Как он ни пытался убежать – не удалось. Зачарованный этим запахом, он пошел вперед и оказался в кяабной. Рослый парень ловко вертел над раскаленными угольями шампуры с кяабом, восхищенно осматривал их, снова ставил на огонь, потом брал шампур и прямо пальцами снимал кяаб на покрытую лавашом тарелку, посыпал нарезанным луком и специями и протягивал покупателю.

Григор измучился, испекся, как кяаб, сто раз пересчитал в уме свои деньги и взял одну порцию. Кяаб растаял во рту раньше, чем он что-то понял, и Григор с тоской и сожалением посмотрел на шипящие над углями шампуры. Как видно, смотрел он довольно долго, потому что парень примерно его возраста, который только что сел на соседний стул и ждал своего заказа, спросил:

- Что, не насытился, браток?

Григор посмотрел на него и улыбнулся.

Лучше бы он не смотрел и не улыбался. Лучше бы он ушел чуть раньше или вообще не заходил в эту проклятую кяабную. Лучше бы!

Кто знает, может, если б он в эту секунду встал и вышел, его будущее сложилось бы совсем иначе, может, он не попал бы в те передряги, которые превратили его жизнь в ад и, в конце концов, привели к гибели. Впрочем, кому до сих пор удавалось избежать своей судьбы, чтоб это удалось младшему сыну Санасара Алексаняна Григору? А посему он посмотрел на парня, улыбнулся и сказал:

- Да разве ж этим насытишься?

- Да ну, - удивился парень и сразу крикнул продавцу кябаба, - Паркев, поставь еще три шампура!

- Зачем? – удивился Григор.

- Чтоб ты наелся, - ответил парень, - я хочу, чтоб ты сегодня насытился кяабом. Ешь, сколько влезет. Я плачу.

- Если на спор, то ты проиграешь, - весело засмеялся Григор, - я могу съесть порций двадцать.

- Приступай помаленьку, - сказал парень, - пива не хочешь?

- А это что, лимонад? – спросил Григор.

- Что-то вроде лимонада, - удивленно посмотрел на него парень. – С кяабом хорошо.

Хоть Григору и не хотелось, но он постеснялся отказаться и кивнул головой:

- Раз говоришь – выпью.

Парень пошел принес два бокала с пенящимся пивом.

- Ты откуда? – спросил он.

- Таушский, - сказал Григор, - из села Хонут. Слышал о таком?

- Нет, - сказал парень, - а как тебя зовут?

- Григор.

- А меня Каро. Вот и познакомились.

Принесли кябаб. Григор с аппетитом съел еще порцию и, глядя, с каким удовольствием Каро пьет пиво, сдувая пену на пол, сам тоже сдул пену и выпил глоток. Выпил, удивленно посмотрел на Каро, с трудом проглотил горький напиток и, еле подавляя омерзение, сказал:

- Тьфу, да разве это можно пить?

Каро от души расхохотался.

- Сначала всем не нравится, но вообще изумительная вещь, - и, заметив недоверчивую улыбку Григора, добавил, - что же, все эти люди, что пьют, глупцы?

Григор предпочел промолчать и съел еще одну порцию. И вдруг удивился, чувствуя, что насытился. Мозги словно прочистились, и во рту он ощущал необычно приятный вкус.

- Ну как, больше не хочешь? - спросил Каро.

- Нет, Каро джан, я сыт, - улыбнулся Григор.

- А говорил, что съешь двадцать порций! – съязвил Каро, - а что ты сейчас делаешь в городе?

- Приехал поступать в техникум.

- В какой техникум?

- Садоводческий.

- Считаю, что уже поступил, - засмеялся Каро. – Эх, везет тебе, Григор. Все преподаватели мои дружки.

- Да ну! - не поверил Григор.

- Вот тебе и “да ну” – я и сам болтаюсь на третьем курсе этого техникума.

- А почему болтаешься? – спросил Григор.

- Да потому, что не хочу учиться, а они все равно переводят с курса на курс, потому что боятся признать, что меня научить не смогли.

- А почему не хочешь учиться?

- Охоты нет, - сказал Каро, - а тебе помогу. Ты уже дела сдал?

- Да.

- Коль придется туго, скажи мне, я весь день слоняюсь у техникума.

- Хорошо, - сказал Григор.

Но звать на помощь не пришлось. Григор блестяще сдал экзамены. Даже удивлялся: задают такие вопросы, что даже стыдно отвечать. Вопросы для первоклассника. Только иногда смеялись над его диалектом, но он сразу же поправлялся. Так было и с Каро.

Сдав последний экзамен, Григор радостный вышел из аудитории и столкнулся лицом к лицу с Каро.

- Каро?

- Григор? Ну, как дела, парень, что получил?

- Кругом сдал отлично, - гордо сказал Григор.

- Что, что? Почему кругом?

- То есть, все экзамены, - покраснел Григор

Каро от души посмеялся.

- Так кругом и поступил?

-Да.

- А магарыч? – спросил Каро, - Не желаешь угостить меня кябабом?

- С первой же стипендии, Каро джан, - искренне сказал Григор, - сейчас у меня мало денег, а сестра лежит в больнице, хочу купить ей немного фруктов.

- Значит, магарыч с меня! – решил Каро, - идем, поедим кябаб, потом купим фрукты и отнесем твоей сестре. Пойдет?

Григор чуть не расплакался.

- Каро джан, да как же мне с тобой расквитаться потом?

- Молчи, стыдно! – сказал Каро...

Нигде за свою жизнь Григор Алексанян не был так счастлив, как в техникуме. Учащиеся большей частью были такие же наивные, честные ребята, приехавшие из разных районов; помогали друг другу, чем могли, делились полученной из деревень едой. В техникуме было так хорошо, что Григор однажды сказал дяде Петросу, что хочет жить в общежитии.

- Почему, сынок? У нас тебя кто-нибудь притесняет? – обиделся Петрос.

- Нет, дядя джан, - сказал Григор, - но в общежитии мы все вместе, вместе учимся, помогаем друг другу.

- Как знаешь, - сказал дядя, - как говорится, козлу козел ближе, чем стадо овец. Делай, как тебе удобнее, сынок.

И Григор переселился в общежитие.

Учиться ему было очень легко, записался в библиотеку, много читал... В селе, когда прочел последнюю книгу школьной библиотеки, решил, что в мире нет больше других книг. А когда увидел библиотеку техникума, застыдился и стал читать запоем, беспорядочно и жадно. Интересовался всем, поступил в кружок баскетбола, и вскоре стал членом сборной техникума. Стал играть в шахматы...

В техникуме он чувствовал себя, как рыба в воде. Он знал, почему так счастлив, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. Боялся, что сглазит. Все дело было в том, что здесь никто не знал и не напоминал ему об отце. Первые дни он смотрел вокруг со страхом, ужасаясь даже мысли о том, что встретит односельчанина. Но, к счастью, их не было. И он постепенно забыл свою боль и свои волнения. И впервые в жизни стал жить спокойно и беззаботно, как все, как положено человеку.

Пока как-то не встретил Манучара.

Он возвращался из больницы. Дошел до улицы Абовяна, спустился мимо кинотеатра “Москва” и, как всегда, остановился у витрины фотографа Ханояна. Там были удивительные фотографии знаменитых армянских артистов. Папазян в роли Отелло, Грачья Нерсисян, Авет Аветисян, Вагарш Вагаршян, Асмик, которых Григор видел на сцене театра имени Сундукяна. А совсем недавно на витрине появилась фотокарточка поэта Аветика Исаакяна. Варпет улыбался грустной-грустной и доброй улыбкой. Григор заметил, что, проходя мимо этой витрины, сам Исаакян тоже часто останавливается, опираясь на палку, смотрит на свою фотокарточку и улыбается такой же грустной и доброй улыбкой. Григор стоял и очарованно глядел на фотографии, когда услышал знакомый голос:

-Ого, ты что здесь делаешь, змеиное отродье?

Мысли Григора были так далеки от села, что он едва припомнил и узнал сына Баграта Топаляна. Тем более, что Манучар был в костюме и широкополой шляпе, которая еще больше подчеркивала его узкую, плоскую голову. Григор и в селе не лез за словом в карман, а теперь, находясь вдали от Хонута и чувствуя окрепшие от занятий баскетболом играющие под пиджаком мышцы, взорвался:

- Сам ты и змея, и лиса, и осел... Это ты как здороваешься, скотина?

Манучар ошеломленно отшатнулся, и прошла почти минута, пока он пришел в себя.

- Это, это, это с чего ты здесь стал такой языкастый, а? – промямлил он. – А что, если я сейчас объявлю всем, кто ты? Впрочем, зачем мне здесь объявлять, слышал я, что ты в техникум поступил. Вот там и скажу! Погоди, погоди, я еще до тебя доберусь! – сказал и быстро спустился вниз по Абовяна.

Жизнь Григора была отравлена. Не мог он больше на уроках спокойно сидеть, спокойно читать. С каждым стуком в дверь он вздрагивал. Когда кто-нибудь из однокурсников окликал его, сердце

начинало биться неритмично и сильно. Он каждый день, каждый час ждал, что вот-вот его вызовут к директору. И там начнется... Почему он скрыл? Почему не написал? Почему обошел? Вот и отвечай. Хотел было даже – ноги в руки – и бежать из техникума, из города... Но куда бежать, с чем? И как бросить Шамам одну? И что скажет потом мама? И разве не скажет потом Левон, мол, какой же ты мужчина, разве тебя этому учил Санасар, наш отец?

Весь во власти тяжких раздумий бесцельно кружил Григор вокруг техникума, когда увидел Каро и от души обрадовался, потому что его и искал.

- Ну что, парень, хочешь кябаба? – засмеялся Каро, потом посмотрел в грустные глаза Григора и тут же спросил: - Что-нибудь случилось?

И Григор раскрылся, рассказал все и об отце, и о селе, и о Баграте Топальяне, и о его сыне, и о своих бессонных ночах.

Каро задумался:

- Может, просто так говорил?

- Нет, - сказал Григор, - ты их род не знаешь!

- Можешь мне его показать? – деловито спросил Каро.

- Да я не знаю, где он бывает, - сказал Григор, - если не ошибаюсь, учится в университете. – Он грустно оглядел шуплую фигуру Каро и застенчиво добавил, - и потом, что ты ему сделаешь, он выше тебя.

Каро засмеялся.

- Если б все дело было в росте, этот столб был бы самым сильным, - сказал он, хлопая по фонарному столбу, - так, говоришь, придет?

- Если узнает, где я, обязательно придет, я его знаю! – уверенно ответил Григор.

Даже разговаривая с Каро, он невольно оглядывался, думал, что вот-вот откуда-нибудь появится Манучар, и когда он на самом деле увидел его на углу улицы, на миг даже не поверил своим глазам, снова удивленно посмотрел и быстро от страха спрятался за столб.

- Что случилось, парень? – спросил Каро.

- Вон он, вон Манучар, идет в техникум, что делать?

- Тот, в черном костюме? – спросил Каро. – Будь спокоен, парень, сейчас ему небо с овчинку покажется.

- Не связывайся, не связывайся, - попросил Григор, - он добьется моего исключения.

Каро задумался. На лбу даже появилась морщинка:

- Ты беги в тот садик. Я сейчас приду, - сказал он и быстро пошел навстречу Манучару.

Еще не дойдя до сада, Григор увидел, как Каро подошел к Манучару и мирно беседует с ним. Потом с удивлением увидел, что они, смеясь, направляются в сторону сада, прямо туда, где притаился за деревом Григор. Ничего не понимая, Григор в растерянности хотел уже выйти им навстречу, когда услышал голос Манучара:

- А где же туфли?

- Иди, иди, здесь они, - успокоил его Каро, и пока Григор в недоумении раздумывал, о каких туфлях идет речь, вдруг увидел, что Манучар лежит на земле, а его широкополая шляпа катится по траве.

- Вай? – кое-как поднимаясь, удивленно вскрикнул Манучар.

- Ты совершенно прав, - спокойно произнес Каро, - ты должен был удивиться, что так быстро встал. Значит, я плохо ударил.

И снова подпрыгнул и нанес удар кулаком в челюсть.

Манучар упал и остался недвижим.

- Он умер, Каро джан, что ты наделал! – испугался Григор.

- Я свой удар знаю, - спокойно сказал Каро, - считай до десяти, он очнется.

Манучар открыл глаза, ошеломленно посмотрел на Каро, потом со стоном повернул голову, увидел Григора и все понял.

- Тебе твоя шляпа нужна? – с деланным сочувствием, спросил Каро. – Пойди и принеси ее сюда.

Григору казалось, что сейчас Манучар схватит шляпу и убежит. Но он ошибся. Еле держась на длинных ногах, Манучар, будто под гипнозом, утирая текущую из носа кровь, подошел, нагнулся со стоном, поднял шляпу и вернулся назад.

- Молодец, - сказал Каро. – Ты умный парень. Ну а теперь посмотри на моего друга и скажи, чей он сын. Внимательно посмотри, - добавил он, сжимая правую руку в кулак. – Итак, повторяю, чей он сын?

- Санасара, - заикаясь произнес распухшими губами Манучар, с ужасом глядя на кулак Каро.

- Точнее.

- Санасара Алексаняна, - покорно ответил Манучар.

- Кто такой Санасар Алексанян, что еще можешь сказать о нем?

- Ничего.

Каро подошел ближе.

- Не надо, не надо, - бросился к нему Григор.

Каро снова снял с головы Манучара шляпу, бросил на землю и стал топтать правой ногой.

- Значит, решим так, - сказал он. – Я тебя затопчу как эту шляпу, если ты посмеешь еще раз задеть моего друга или даже произнести его имя. И если где встретишь его, будешь низко кланяться, понял? Скажи “понял”, дубина.

- Понял, - не поднимая головы, сказал Манучар.

- Ну, а раз понял, попробуй, посмотрим, умеешь ли?

Манучар поклонился.

Это было омерзительно.

А через два часа в кябабной у Паркева Григор, едва шевеля отяжелевшим от водки языком и обняв Каро за плечи, спрашивал:

- Значит, говоришь, он больше не придет, Каро джан?

- И не думай об этом, братишка, - сказал Каро.

Григор смотрел на своего ангела-хранителя преданными глазами.

- Я твой должник до конца жизни, - говорил он, - не думай, я не пьян. Это я от души. Видишь, у меня нет ничего? Только одна жизнь. И если будет нужно, я отдам ее за тебя. Веришь? Нет, ты скажи – веришь?

- Верю, а как же, - смеялся Каро.

- Не веришь, - упорствовал Григор. – Не веришь, но придет день – поверишь!

И оба не подозревали, как близок этот день.

- Каро джан, - вдруг спросил с пьяной откровенностью и без того откровенный и непосредственный Григор, - не обидишься, если спрошу одну вещь?

- Нет, - сказал Каро.

- Каро джан, ты вор? – спросил Григор.

- С чего ты взял? – удивленно засмеялся Каро.

- Ведь у тебя всегда есть деньги.

- Да разве у вора всегда бывают деньги, братишка? – давась от смеха, сказал Каро. – У вора один день есть деньги, а потом он целый месяц ходит голодный, как собака. – Он протянул другу свои исколотые мозолистые пальцы. – Да разве это руки вора, смотри, смотри, разве это нежные ручки вора? Твой долговязый односельчанин, например, как увидел мои пальцы, сразу поверил и пошел за мной в сад, потому что я сказал, что могу по дешевке продать туфли.



- Кто это так исколол их? – удивился Григор.

- Я сам, - сказал Каро. – Я сам исколол. Я сапожник. Увидишь сшитые мной туфли, закачаешься. Это мастерство досталось мне от отца. Знаешь, какой у меня был отец? Знаешь, как он содержал нас?

- А сейчас? – невольно проникся сочувствием Григор.

- В колонии, - грустно сказал Каро, - за свои золотые руки. Четыре года дали.

- За шитье обуви?

- Да.

- Значит, туфли шить нельзя?

- Почему нельзя, поступай в артель и шей, сколько душе угодно.

- А почему он не шил в артели?

Каро пренебрежительно сплюнул.

- Да разве настоящий мастер будет шить в артели? – сказал он, - там же за качеством не следят, там говорят: жми, давай план, шей побольше, побыстрее, на соплях! А если б ты видел шитые отцом туфли, сказал бы – нерукотворная работа. Так-то, братишка... А люди понимающие платили столько, что за две пары можно было жить и содержать семью целый месяц. Теперь понял разницу?

- Это-то понял, - сказал Григор, - но разве можно за это сажать?

- Говорят, не имеешь права. Что это запрещенный промысел. Мол, мешает работе артелей. Говорят, откуда у тебя кожа и подошва, если в магазинах их не продают?

- Так откуда же? – в свою очередь спросил Григор.

- От воров, гражданин следователь, - засмеялся Каро, - от обыкновенных воришек, которые выносят с завода кожу, обмотав вокруг пояса. Или от тех, кто дома содержит подпольный кожевенный цех.

Хмель у Григора выветрился.

- А теперь и ты шьешь, Каро джан?

- Да, - сказал Каро.

- И не боишься?

- Боюсь, - признался Каро, - боюсь, но не знаю как быть, чтобы содержать мать и трех сестер моих, посылать отцу в колонию передачи, да и самому иногда кушать кябаб с друзьями. И потом, - добавил он, глядя на свои исколотые пальцы, - очень я люблю это дело. Когда шью туфли, не

думаю ни о чем плохом, и душа успокаивается. Я не хотел говорить, но сейчас шью пару туфель для твоей сестры. В тот день, когда мы были в больнице, ты только не подумай плохого – это привычка такая, я сперва посмотрел на ее ноги и увидел, что у нее и порядочной обуви нет.

- Дорогой ты мой, - снова опьянел Григор, - какой же ты хороший человек, Каро!

- Только что говорил, что я вор, а теперь – “какой хороший человек”, - засмеялся Каро. – Обыкновенный человек я, но вынужден работать по ночам, тайком, как вор. Вот и сплю днем на занятиях. Что ж поделаешь? Учеба не по мне – разрешили бы, день и ночь туфли бы шил...

- Теперь я все время буду думать о тебе, - вздохнул Григор, - чтоб тебя случайно не поймали. Будь осторожен, Каро джан!

- Э-э! – сказал Каро, - если бы я за себя боялся... Нашим плохо придется... Три девочки... Да и мать состарилась, весь день плачет. О них думаю, потому и продаю туфли за полцены.

- Почему?

- Со страху, братик, со страху. Меня знают, при встрече участковый в первую очередь смотрит на исколотые пальцы и головой качает. Но пальцы не улика, а то бы давно послал меня к отцу, как каждый раз сулит, сукин сын.

- А как же ты выкручиваешься?

- За каждую пару даю одному парню пятерку, чтоб относил на рынок, старому знакомому, торговцу. И пятнадцать рублей с пары оставляю торговцу.

- Ого! – невольно воскликнул Григор, - и не жалко столько денег?

- Конечно, жалко, - подтвердил Каро, - знаешь, какая обувь! Вот завтра принесу тебе туфли для сестры твоей, увидишь... Иногда даже жаль продавать... Увижу на ком – узнаю. Если на порядочной женщине – радуюсь, иду за ней, смотрю и радуюсь, а если нет, готов прямо снять с нее.

- А как ты определяешь, порядочная женщина или нет? – засмеялся Григор.

- По походке видно.

- Каро, - сказал Григор, - хочешь, я буду относить твои туфли этому торговцу?

Каро резко встал из-за стола.

- Больше чтоб об этом и речи не было, - сказал он уже на улице очень строго, - слышишь! Тебе нечего путаться в эти дела, понял? Если нужны будут деньги, скажи – я тебе дам. А ты как был чист, старайся так чистым и жить. Ты надежда целой семьи. А у меня нет выхода. Таков мой удел...

Григор был так растроган и своим предложением, и отказом Каро, что не выдержал и с непосредственностью и наивностью крестьянина сказал:

- Удивительно... а мне говорили – будь осторожен, городские ребята... - и прикусил язык.

- Жулики, да? – засмеялся Каро. – Жулики есть повсюду, братец. И в городе их много. Но я не жулик, нет! – сказал он и добавил с нескрываемой гордостью, - мы, братик, коренные ереванцы, старые ереванцы. Уже семь поколений... А это чего-нибудь да стоит. А теперь иди. А я пойду поработаю, руки чешутся.

И исчез на одной из узких улочек, ведущих с рынка в темноту, этот удивительный парень, достойный наследник старых ереванцев.

А жизнь продолжалась. Как и уверял Каро, Манучара и след простыл. Даже напротив, когда Григор однажды увидел его в Комсомольском парке, Манучар так быстро улетучился, что Григор подумал – померещилось.

Каро несколько дней не появлялся в техникуме. Григор стал беспокоиться, не поймали ли. Не дай бог, что будет с его матерью и сестрами! Беспокоился, беспокоился Григор и не выдержал, пошел, расспрашивая прохожих, нашел на узкой извилистой улочке дом Каро. И увидел, что друг лежит с высокой температурой. Каро очень обрадовался, улыбнулся:

- Знал, что найдешь меня, - сказал он.

- Что с тобой случилось, братик? – растрогался Григор. – Чем я могу помочь?

- Пустое, - сказал Каро, - простыл немножко, пройдет!

С шумом появились его сестры, такие похожие друг на друга, что если б приходили по-одиночке, Григор подумал бы, что это одна и та же девушка. Пришли, смело поздоровались, обменялись с братом шутками, пошутили друг с дружкой, а когда вышли, Григор увидел, что накрыт богатый стол.

- Видел, какие у меня сестрички? – гордо спросил Каро.

- Будто из шляпы фокусника выскочили, - чтоб скрыть растерянность, засмеялся Григор. – И все такие красивые, и такие похожие...

- То-то, - улыбнулся Каро, - ну садись и ешь.

Григор отказался.

- Ешь, братик, ешь... Если ты будешь кушать, я посмотрю на тебя, аппетит у меня появится и поправлюсь...

Сели, долго беседовали и, слово за слово, Григору стало ясно, что Каро в затруднении. Парень, что относил туфли, начал свое дело и отказался впредь быть посредником. А отцу невесть зачем понадобилась в колонии большая сумма денег, передал через одного, чтоб как-нибудь собрали и прислали. И Григор с легкой душой совершенно искренне сказал:

- Если готовые есть, дай, я отнесу...

Каро покачал головой.

- Ну, я же тебе говорил, что это не твое дело.

Григор обиделся.

- Так что же это за дружба? – сказал он, - значит, я только едок кябаба? Не стыдно?

- Ты не сможешь этого сделать, Григор, - упорствовал Каро, - сразу попадешься, это не каждый умеет.

- Почему, э? Значит, я того парня не стою? Должен отнести на рынок и кому-то передать, всего-то дел?!

- А если попадешься?

- Почему должен попасться, э?.

- А все-таки...

- Поймают, скажу, что не знаю, что в мешке, дал один человек, попросил передать такому-то... Я этих людей не знаю, вот и все! – восхищенный собственной изобретательностью, засмеялся Григор.

- Э-э! – махнул рукой Каро и лег на кровать.

В конце концов Григор уговорил Каро. И Каро согласился потому, вероятно, что не имел другого выхода. Григор взял сверток с туфлями, который Каро достал из-под подушки, добавив грустно: “Вот, смотри, где от страха прячу”, и пошел на рынок, повторяя в уме и без того простой адрес: “Конец ряда мануфактурных лавок. Спросить будку сапожника Мацо. Сказать, что послан от Каро”. Вот и все.

Он был горд и счастлив, что сломил сопротивление Каро, и полон сознания, что в какой-то мере сможет отблагодарить его, и совсем не чувствовал страха. Совершенно. Спокойно вошел он на рынок, постоял немного перед разноцветными глиняными кошками и петушками, поглядел на торжественную процедуру раздачи сладкого чая Сеником-агой, хотел и сам выпить, но вспомнил, что у него есть дело, и крепко зажав пакет под мышкой прошел вдоль мануфактурного ряда. Вот и будка сапожника Мацо. Это длинноусый человек, который, зажав в зубах мелкие гвозди, прибавляет подметки к туфлям на подпявшей, словно змея свою плоскую голову, железяке. Подошел, остановился, огляделся. Все было знакомо, обыкновенно и буднично... Был рынок и рыночный шум...

- Вкусная ереванская вода, совсем холодная, только что из родника! – раздалось под самым его ухом.

Он сытно поел у Каро и чувствовал жажду. “Сейчас отдам этот пакет и напьюсь воды, - подумал он, - разок пусть и я потрачусь на воду, всего-то копеечка!”

Он подошел к Мацо и шепнул на ухо:

- Принес. Каро послал.

Мацо исподлобья посмотрел на Григора, продолжая прибывать подметки, потом осмотрелся и, как видно, не заметил ничего подозрительного, потому что встал с табуретки, достал изо рта гвоздики, положил их на столик, зашел в какой-то уголок и позвал:

- Давай.

Григор вошел в будку, передал пакет Мацо. Мацо развернул газету, посмотрел на туфли, на Григора, и вдруг его зрачки расширились от ужаса.

- Это что, мальчишка! – закричал он, - а говоришь, лаваш? Забирай и убирайся отсюда. Ты меня с кем-то путаешь.

Григор взял развернутый пакет и ошеломленно посмотрел на Мацо, но еще не испугался, просто подумал, что или произошло недоразумение, или Мацо ему не доверяет, или он ошибся адресом. Но так как Мацо, или тот, кого он принял за Мацо, продолжал кричать, глядя куда-то за спину Григора, Григор тоже обернулся, и ноги его сразу ослабели. Прямо за ним, заслоняя свет мощными телами, стояли двое.

- Ну, ну, кончай играть, Мацо, бери, - ухмыльнулся один из них.

- Я?! – закричал Мацо. – Почему я должен брать? Чтоб мне провалиться, если я не вижу этого парня впервые в жизни, - искренне разозлился он. – Спросил меня, нужен ли лаваш? Я и ответил – давай. Только и всего.

- Закрывай свой притон, - прикрикнул на Мацо первый, - пошли!

- Ты виноват, ты, - зашипел на первого второй вошедший, - сказал ведь, зайдем позже, когда он передаст деньги. А теперь попробуй доказать! Ну ничего, дам пару раз по шее, признается.

Но Мацо услышал последние слова его и кричал уже спокойнее:

- Кому дашь по шее, за что, разве в нашей милиции людей избивают? Попробуй только, думаешь на тебя управы нет, прокурора нет?

- Тьфу, будь проклят тот закон, который будет защищать такого спекулянта, как ты, - сказал от души первый, - бери и пошли. Пошевеливайся, парень! – толкнул он Григора.

- Я?, - удивился Григор.

Ему еще где-то в глубине души казалось, что это недоразумение, что эти люди почему-то сердиты на Мацо, потому и кричат. Покричат, успокоятся и разойдутся по своим делам. Вспомнил даже, что хотел выпить холодной воды, и поэтому вздрогнул, когда мужчина толкнул его в спину.

- Я? – снова спросил Григор...

Здание отделения милиции было неподалеку, и Григор даже не заметил, как они дошли. Вторым мужчиной, схватив Григора за руку, провел его в какую-то комнату, где стояли стол и два стула. На

одном сел он сам, а Григору приказал положить пакет на стол и сесть на другой стул, сказал, что его зовут лейтенант Маркосян, и приступил к допросу:

- Имя, фамилия?

- Григор Алексанян.

- Отчество?

- Санасарович, - прошептал Григор.

- Где учишься или работаешь?

- В садоводческом техникуме. На первом курсе.

- И не стыдно тебе, студент и... Положи руки на стол, - вдруг повысил он голос. – Поверни. – Он внимательно осмотрел пальцы Григора, - студент... а занимаешься продажей обуви. Кто тебе дал эти туфли?

Григор знал, что ни в коем случае не должен называть имени Каро.

- Около рынка... Один мужчина остановил... Попросил...

- Сказочки рассказываешь, - усмехнулся лейтенант Маркосян, - а теперь рассказывай правду.

- Я правду говорю.

- Этого мужчину видел в первый раз?

- Да.

- Если увидишь, узнаешь?

- Нет.

- А почему взял у незнакомого человека пакет?

- Пожилой человек был, попросил...

- Что попросил?

- Сказал... Возьми этот пакет, пройди в мануфактурный ряд и...

- И... кому дай?

- Сапожнику.

- Мацо?

- Имени не сказал.

Лейтенант Маркосян встал, подошел к окну, посмотрел наружу, потом повернулся к Григору.

- Откуда ты, Григор Санасарович Алексанян?

- Таушский.

- Из какого села?

- Хонут.

- Еще одна жертва, - сказал сам себе Маркосян.

- Это Сундукян написал, - невольно выпалил Григор.

- Это не Сундукян написал, - мрачно сказал Маркосян. – Это Мацо написал, Хдо написал, тот сукин сын, что дал тебе туфли и чье имя ты должен будешь назвать, все эти негодяи написали, чтобы погубить таких наивных и невинных мальчишек, как ты. Чужими руками каштаны из огня таскают, ворюги!

Григор вспомнил исколотые пальцы Каро и еще крепче сжал зубы.

- Кто дал тебе эти туфли?

- Мужчина один, пожилой...

- Ну ладно, - прервал его лейтенант Маркосян, - ты еще совсем молод, наверное, первый раз попадаешь в милицию, мы это уточним, потому хочу объяснить тебе. Смотри, что получается. Один человек, сапожник, который шьет туфли из краденой у государства кожи и продает по цене, превышающей мою месячную зарплату, благодаря тебе – потому что ты не хочешь назвать его имя – остается на свободе. Не перебивай! Слушай. Другой разбойник, который берет эту обувь и перепродает еще дороже, тем самым, не тратя ни копейки, получает тысячи, благодаря тебе, поскольку ты и его не хочешь назвать, тоже гуляет на свободе. Кто же остается? Ты, Григор Санасарович Алексанян. Только ты. За чужое преступление наказан будешь ты. Сколько тебе дал сапожник?

- Тот человек? – спросил Григор, - ни копейки.

- Сказки рассказываешь, Григор, - это, видно, была его любимая присказка, поскольку он повторил, - сказки рассказываешь. Кто у тебя есть в селе?

- Мама, - сказал Григор и заплакал.

- Почему вдруг заревел?

- Ведь если она узнает, что меня арестовали, с ума сойдет.

- А еще кто?

- Старший брат в армии, а сестричка здесь, в больнице.

- А где отец?

- Нету. Умер.

- Еще одна жертва, - повторил лейтенант Маркосян и сел за стол. – И тебе не жаль матери, своей больной сестры, своего брата, чье имя позоришь, своей молодой жизни? Ведь мы тебя посадим, Григор, ты не первый и не последний. Посадим, и ты запятнан навсегда. Ради чего? Ради кого? Разве ты не хочешь выйти на свободу, пойти на занятия?

- Хочу, - снова заплакал Григор.

- Ну, а раз хочешь, послушай, что ты должен делать. Слушаешь?

- Да.

- Итак, во-первых, должен сказать, кто дал тебе туфли. Во-вторых, должен сказать, кому должен был передать и сколько получить денег. В-третьих, мы должны привести в эту комнату и сапожника, и этого негодяя Мацо, и ты должен сказать им в лицо то же самое. Ясно? Вот только тогда я смогу ходатайствовать перед руководством, просить, чтобы тебя простили, потому что у тебя первый привод, ты учишься, у тебя больная сестра, в селе одинокая несчастная мать и так далее, и так далее... Понял?

- Да.

- Значит, задаю первый вопрос: кто дал тебе эти туфли, Григор?

Григор молчал.

- Не хочешь говорить. Боишься этого сапожника. Небось, сказал тебе – если назовешь, убью, да? Говори, спасай себя, парень, другой на моем месте не стал бы с тобой столько возиться. Пользуйся моей добротой, у меня тоже мальчишка твоих лет, и мне тебя жаль. Говори!

Григор не отвечал.

- Ладно, - сказал лейтенант Маркосян, - посидишь ночью в камере, поумнеешь...

А сам подумал: “Расскажешь, паренек, расскажешь. И не такие раскалывались. Когда припру фактами – признаешься. Может ты не понимаешь своей пользы, или боишься, а я-то на что? Придется чуть больше повозиться, только и всего. Поговорю с однокурсниками, найду родственников, побеседую с сестрой. Тысячи способов есть. И ради тебя самого найду и поймаю того человека, из-за которого ты попал в такое положение. Поймаю. А может, завтра сам расскажешь. Поспишь ночью на жестких нарах, поумнеешь”.

И Григора отвели в камеру.

Напоследок Маркосян спросил:

- Кому сообщить, чтоб тебе принесли передачу?

Григор чуть было не дал адреса Каро, но так испугался этой мысли, что даже о дяде Петросе не сказал. Ничего, не сдохнет, привык голодать.



- Никому, - сказал Григор.

Так называемая камера была длинной комнатой со скамьями вдоль стен. Никого в ней не было. Григор лег на нары, обхватил голову руками и долго плакал о своей несчастной жизни. Плакал и убеждал себя, что никогда, никогда не выдаст Каро. Пусть избивают, пусть сажают в тюрьму, пусть расстреливают – не выдаст.

Вечером привели каких-то пьяных парней, они кричали, переругивались, но Григора не тронули, улеглись и захрапели на жестких нарах. А позже, когда именно, Григор не знал, открылось маленькое окошко в камеру, и милиционер с длинными, густыми усами поманил его пальцем:

- Это ты Григор?

- Да, - обрадовался Григор.

- Сестра тебе еду прислала, на!

Он раскрыл было рот, чтоб сказать, что этого не может быть, но милиционер быстро закрыл окошко. Григор сразу понял, что это прислала одна из сестер Каро. Значит, Каро знает. А если знает, значит, что-нибудь сделает, не оставит его так. Каро! Он обрадованно и с облегчением раскрыл сверток, на всякий случай повернувшись к пьяным спиной, быстро съел вареные яйца и зелень, куриную ножку и маленькие куски мяса, видно, извлеченные из супа, и когда насытился, будущее уже не казалось ему таким мрачным и грустным, как раньше. Раз Каро знает, а в этом больше нет никаких сомнений, значит, что-нибудь сделает. Потом Григор подумал, что ему повезло, что завтра воскресенье, уроков нет, и преподаватели не узнают, а ребята из общежития подумают, что он остался у дяди. А завтра что-нибудь да произойдет, раз Каро все знает, и сам не почувствовал, как мгновенно уснул на жестких досках нар.

Проснулся он от криков пьяных. Они спорили между собой, сводили вчерашние счета, обвиняли друг друга, изумленно ощупывали невесть где и когда полученные раны, стонали от боли и снова набрасывались друг на друга. А Григор съежился в уголке и удивленно думал, почему милиционер не заходит и не наводит порядок. И будто в ответ на его мысли открылось окошечко и появилось лицо длинноусого милиционера:

- Заткнитесь! – сказал он почти шепотом, и так как не закричал, этот шепот сразу утихомирил всех.

- Заткнитесь, - сказал он, - началась война.

- Какая война? Что ты болтаешь? – сразу отрезвев, закричали ребята.

- С немцами война, - грустно сказал милиционер, - только что объявили по радио. Война, парни!

Два дня никто не интересовался Григором, и ему показалось, что о нем забыли. Но на третий день за ним пришли и отвели в другую комнату, где сидел второй из тех, кто его арестовал.

- Твое дело у меня, - сказал он, глядя на лежащую на столе папку. – Я капитан Адамян. Я тебе не Маркосян, - добавил он, - и возиться с тобой мне неохота. Один раз спрошу и все. Кто дал тебе эти туфли и послал к Мацо?

- Не знаю, - сказал Григор.

Он, конечно, очень хорошо знал. Но не знал, совсем не знал, что его вопрос уже решен, и разрешился вчера, поздно ночью, во время разговора между этим капитаном Адамяном и помощником и временно исполняющим обязанности районного прокурора Анмегикином.

...Адамян устало бросил папку на стол помощника прокурора и сказал:

- Больше сил нет. Этот Маркосян все свои незавершенные дела оставил на меня и – в Красную Армию! Я, мол, герой, иду добровольцем!

- Конечно, герой, а как же – сказал Анмегикиан, раскрывая папку и глядя опухшими от бессонницы глазами на разрозненные листы бумаги. – Это дело об обуви?

- Да. Трое суток держим этого мальчишку, не признается. Скажите, что делать?

- Гони его, - сказал Анмегикиан, - война, все смешалось, стоит ли из-за двух пар туфель сажать парня?

- Вы это серьезно? – удивился капитан.

- Завтра-послезавтра его возьмут в армию, - продолжал свою мысль Анмегикиан.

- А туфли?

- Туфли конфисковать.

- А что сказать, откуда они взялись, дома нашел? Есть свидетели, протокол составлен, пойман с поличным, что ж теперь делать?

- А кто свидетели?

- Ну... Один Мацо, а другие...

- Какой Мацо? Этот спекулянт?

- Что делать? Из-за Маркосяна не смогли поймать с поличным. Пристал, мол, давай побыстрее войдем...

- И теперь, отпустив Мацо, этого парня сажают?

- А что делать?, - огорчился капитан, - а почему он не говорит, у кого взял туфли? Ни за что не признается, сучье отродье.

Помощник прокурора Анмегикиан весь день ничего не ел, желудок страшно ныл. Он нажал на живот кулаком и спросил:

- Чего тебе от меня нужно, Адамян?

- Дайте санкцию. Утром кончаются трое суток, больше не можем задерживать. А вдруг потом спросят, что это вы сделали? Раскрытие хищений имеете, нарушение цен имеете, спекуляцию имеете, а запрещенных промыслов нет? И то где, в районе базара? Зададут нам перца!

- Давай подпишу, давай! – сдался помощник прокурора.

И капитан довольно улыбнулся.

После его ухода Анмегикян спрятал бумаги в негораемый шкаф, вышел из здания прокуратуры и пошел домой, подобно всем слабым людям, находя в уме смягчающие обстоятельства: “Э-э, этому парню просто не повезло... Если бы повезло, проклятая война не началась бы и Маркосян не ушел бы в армию. Он бы докопался до всего и нашел бы настоящих преступников. Не стал бы вроде Адамяна ради собственного спокойствия стряпать дело. Но кто знает, может, это и к лучшему, - думал он, - может, именно в этом везенье деревенского парнишки? Кто знает? Война ведь, завтра-послезавтра возьмут на фронт и, может, в первый же день погибнет. И вообще, что случилось? Я буду на суде. Скажу, чтобы больше года не дали и сразу бы отправили в колонию. Пусть несколько месяцев поработает на свежем воздухе. Ничего страшного”.

Вот и вся история.

И для хонутца Григора Алексаняна потянулись бессмысленные, неопределенные, бесконечные дни. Его отвели в тюрьму, где было очень жарко, и Григор думал только, почему не открывают окна с двух сторон, чтоб хоть сквозняк был. Его вызывали в комнату, где стул был прибит к полу, и задавали вопросы, те же самые, а Григора интересовало только одно, что случилось с Каро, почему он не появляется, не вмешивается, не освобождает его из тюрьмы. И когда его повезли в суд, он чуть не расплакался от радости, когда увидел в зале трех красивых, похожих друг на друга, сестер Каро.

Еще до начала суда к нему подошел старик в старой широкополой шляпе и засаленном галстуке.

- Я твой адвокат, - сказал он, - мать Каро наняла.

- А где Каро? – нетерпеливо спросил Григор.

- Его в первый же день забрали в армию. Теперь ты можешь спокойно рассказать все, всю правду, - прошептал старик, - рассказывай спокойно. Я строю защиту на этом. – Он почувствовал, что парень ничего не понимает, и быстро сказал, - сынок, они больше ничего не могут сделать с Каро. А тебе будет легче.

- Что же мне делать? – убито прошептал юноша.

- Скажи, что Каро Гамбарян дал тебе эти туфли.

Григор посмотрел туда, где сидели сестры Каро. Будто подтверждая слова адвоката, они плакали и кивали головками.

И Григор покачал головой:

- Не скажу.

- Почему? – опешил старик.

- Не скажу, - повторил Григор, - я не назову здесь имени Каро.

Заседание суда длилось полчаса, и закутанная в этот летний зной в черную шаль женщина, которая была судьей, простуженным голосом объявила, что Григор Санасарович Алексанян, согласно пункту такому-то статьи такой-то, приговаривается к году исправительных работ.

Через несколько дней Григора перевели в лагерь, и он был очень доволен своим новым положением, потому что в колонии было не так душно, как в тюрьме. Они жили в землянках, как в селе, и спали на разостланных на земле матрасах, потому что лагерь еще только строился. О еде не беспокоился, потому что довольствовался тем, что давали, и два раза его навестили мать и сестры Каро. Сестры читали полученное от Каро письмо, где он все время спрашивал о Григоре, шутил, гордился стойкостью Григора, а мать, глядя на Григора, сознательно или бессознательно повторяла: “Каро джан, Каро джан”...

Однажды приехали дядя Петрос и тетя Ануш. Привезли вареную курицу, сушеный кизил и картошку в мундире. Сушеный кизил так растрогал Григора, что он спросил дрожащими от избытка чувств губами:

- А почему мама хоть раз не приедет?

- Не пускают, дорогой, - расплакалась тетя Ануш, - несчастная Варсеник все глаза выплакала по тебе. Не пускают: война, уборка урожая, рабочих рук не хватает...

- А Шамам еще в больнице?

- Да, детка...

- А Левон знает, что я сижу?

- Нет, сынок, - сказал дядя Петрос, - не сообщаем, чтобы воевал спокойно... Терпи, Григор джан, мало осталось...

Григор работал как раз на стройке лагеря. Работа была не тяжелой, да и привычен был он к этой работе. В селе много работал с раствором, помогая односельчанам. И теперь он готовил раствор. Расчистил круглую площадку и смешивал на ней известку и песок, заливал в большую бадью, а работавшие наверху, на стене, поднимали бадью на веревке, опорожняли и снова опускали. И пока, дергая за ту же веревку, не давали знать, что нужен раствор, Григор садился на горку песка и уносился мысленно в Хонут. Даже горькое сиротское детство в селе казалось ему сейчас раем, прекрасным сном, золотой сказкой. Он ни на одну свободную секунду не оставался в лагере, сразу мысленно переносился в Хонут, скакал с Левоном на палочках по покрытым цветами лугам, взбегал вверх по проторенным в полях желтым тропинкам, срывал колосья и, разведя на каком-нибудь плоском камне огонь, обжаривал их, разминал их в ладонях и ел обжигающие, пахнущие молоком, живительные зерна. Или ссорился с мамой, почему она шьет блузу сперва для Левона, а потом для него, и бедная Варсеник начинала шить одновременно для обоих. Один рукав для

Григора, второй – для Левона. Чтоб не дрались. Или вдруг оказывался на старой молотильной доске и кружился на ней вслед за усталыми лошадьми на току. Спускался в ущелье, обламывал тростинку прямо у родника, опускал ее в струю и пил холодную, восхитительную воду...

Веревка дергалась и Григор мгновенно возвращался из Хонута в колонию, заливал раствор в тяжелую бадью, отправлял наверх и снова и снова, каждый день, каждый час переносился в село. А однажды... Что же случилось? – Ах да, ужасная вещь, до сих пор вздрагивает, когда вспоминает. Это было в доме у Эрикназ. Он был, Левон и сынишка Эрикназ Саак. Очень маленькие они были, играли. И вдруг Саак встал на стул, снял со стены отцовское охотничье ружье:

- Давайте поиграем с ружьем.

Левон был старшим, выхватил из рук Саака ружье.

- А если внутри есть патрон?

- Нету, - успокоил Саак, - разве мой папа оставит в ружье патрон? Хочешь выстрелить?

Левон направил ствол на открытую дверь и потянул курок. Раздался щелчок и выстрела не последовало.

- Видишь? – засмеялся Саак. – Ну дай... Ружье папино, значит, я должен первым стрелять.

Он навел ружье на Левона и потянул спуск, громко крича:

- Чрхк, ты убит, ну умирай...

Потом он, Григор, взял ружье и навел на Саака:

- Чрхк, ты убит, умирай...

Потом Левон навел ружье на Григора:

- Чрхк, ты убит, умирай.

Все трое лежали на земле и хохотали. Столько смеялись, что устали. А в конце Саак сказал:

- Видишь, на той ветке угод сидит? Сейчас я выстрелю в него.

Он взвел курок, прищурил глаз, будто прицеливаясь, и потянул спуск.

Раздался страшный грохот, ружье сильно ударило Саака в плечо и выпало из рук мальчика. С дерева посыпались сбитые ветки и листья. Из соседних домов выскочили испуганные люди. Но где им было поймать испуганных ребятишек, которые чуть не оглохли и сейчас в ужасе бежали в кизилковый лес, в Чертово ущелье, и не выходили оттуда, пока Эрикназ и Варсеник, перевернув вверх дном все село, не нашли их в зарослях и не поклялись всеми святыми, что не отлупят. Слава богу, что не убили. Чья же рука могла после этого подняться на них.

“Пустое! От своей судьбы не уйдешь. Значит, у нас на лбу написано, что еще будем жить” – подумал Григор.

Веревка дернулась, и Григор снова наполнил бадью раствором и потянул веревку, чтоб ее подняли. А сам “поспешил” в Хонут. Последнее воспоминание, которое он унес с собой, было видение пылающего тonyра. Мама Варсеник сложила в деревянную кадку одинаковые кругляши теста и ждала, когда спустится огонь, чтоб нагнуться над тonyрем и испечь хлеб на его раскаленных стенках. Он тоже ждал, чтобы понарошку схватить маму за подол, якобы удерживая ее, чтобы не упала в тonyр...

Но мама, и не упав в тonyр, сгорела, обратилась в пепел от ужасной боли.

... Наверху, на стене, один из рабочих нечаянно выпустил из рук полную раствора тяжелую бадью...

## ПАМЯТНИК

- Дед, а дед!

Сурен не расслышал ничего за стуком молотка.

- Я с тобой, дедушка! – потянул деда за ногу внук.

Сурен обернулся, увидел вцепившегося в него Мхитара, улыбнулся, отложил инструменты, пальцами правой руки стряхнул со лба пот и сел перед внуком на корточки.

- Что, дорогой мой, что, родной...

- Дед, Лусик говорит, что Деда-Мороза нет, что это дедушка и бабушка кладут нам под подушку игрушки в новогоднюю ночь. Разве это правда?

-Как это так? - рассердился каменщик Сурен. – Я ей уши оборву, как это нет Деда-Мороза? Как то есть это мы кладем игрушки под подушку? Деду и бабке больше делать нечего?!

- Да, да, - засмеялся довольный Мхитар, - как следует потаскай ее за уши...

- Обязательно, - обещал дед.

- Пойти позвать ее?

- Зачем?

- Чтобы за уши оттащал.

- Нет, - сказал дед, - у меня сейчас нет времени, я работаю.

- А что ты делаешь, дед?

- Памятник, - сказал каменщик Сурен.

Мхитар прищурил глаза и долго смотрел на камень...

- Ну, - спросил дед, - как, хорошо?

- Да. – сказал внук. Снова посмотрел на камень и сказал, - дедушка, когда я вырасту, и для тебя сделаю памятник.

- Памятник, памятник! – закричал дед от радости, подхватил внука на руки, поднял его, опустил, расцеловал и снова подбросил вверх, подхватил, поцеловал и снова подбросил, - да буду я жертвой за тебя, мой мудрый внучек, мой отец, мой внук, мой памятник. Ты и есть и мой памятник, и памятник моему отцу, братец! Я же знал, почему назвал тебя Мхитаром. Ты мой утешитель.

Ему было столько же, когда его отец Мхитар ушел на фронт и больше не вернулся. Лица его он не помнил и по старым поблекшим фотокарточкам не мог представить его себе. Но, удивительное

дело, в памяти его надолго запомнился запах отца. И когда мать однажды достала из кованного жестью сундука блузу мужа, чтобы отнести Варсеник на переделку для Сурена, он вдруг вырвал из рук матери блузу, прижал к лицу, жадно вдохнул отцовский запах и заплакал:

- Ой, мамочка, это запах моего отца... Мама, дай еще раз вдохнуть...

Когда у них родился сын, Сурен сказал высунувшейся из окна роддома Агуник:

- Назовем Мхитаром.

- Погоди, выпишусь, тогда и решим, к чему такая спешка?

- Выпишешься, не выпишешься, а назовем Мхитаром, - сказал Сурен.

И тем не менее, вернувшись домой, Агуник еще раз попыталась переубедить Сурена.

- Сурен джан, - сказала она, - глава семьи, конечно, ты, но выслушай и не обижайся. Говорят, нехорошо называть ребенка именем погибшего. Говорят, избави бог, такой ребенок бывает несчастен. Последнее слово, конечно, за тобой, но...

- Раз последнее слово за мной, - отрезал Сурен, - значит, назовем Мхитаром.

Но какая женщина легко отказывается от задуманного?

- Ну подумай сам, - проворчала Агуник, - не обижайся, конечно, ну что за имя Мхитар, э? Мхитар... Смотри, другие как детей называют: Гамлет, Руслан, Эрнест, Карлен... Аж душа радуется. Современные, европейские имена. А, Сурен джан? Мой отец говаривал...

- Ладно, - спокойно сказал Сурен, - значит, забирай ребенка к вашим и называй его со своим отцом как хочешь. Ладно?

И так как Агуник замолчала, Сурен осторожно достал из колыбели спеленатого ребенка, обнял, посмотрел на надувшиеся губки и наморщенный от каких-то своих забот лобик сына, поднял его и, вспомнив слова, вычитанные недавно во французском историческом романе, воскликнул:

- Мхитар умер, да здравствует Мхитар!

- Осторожно, медведь! – вскочила с места Агуник, - осторожно!

И Сурен радостно засмеялся.

А когда у самого Мхитара родился сын, и они с Сураном после долгого перешептывания заявили, что решили назвать новорожденного тоже Мхитаром, невестка радостно улыбнулась, любящим и преданным взглядом посмотрела на мужа, а Агуник уже беззлобно засмеялась:

- Давайте, пусть будет полный дом Мхитаров...

- Мхита-ар, Мхита-ар, - раздался издали голос Агуник, - где ты, Мхитар?

- Откликнись, внучек, - сказал Сурен, - не слышишь, что ли?



- А может, папу зовет? – хитро улыбнулся мальчик, - не правда, дед?
- Да как же она может звать папу, - засмеялся Сурен, - твой папа сейчас косит на горе.
- А Агуник продолжала звать, уже беспокоясь:
- Мхитар, где ты, откликнись, противный мальчишка, откликнись, божье наказание!
- Ну, откликнись поскорей! – прошептал Сурен.
- Не стоит, - тоже шепотом ответил Мхитар.
- Почему?
- Зовет, чтоб уложить спать...
- Ну и спи.
- А если мне не спится? Тогда ты тоже спи.

Сурен приглушенно засмеялся: "С этим мальчишкой не поспоришь".

- Сурен, эй, Сурен!
- Чего? -откликнулся каменщик.
- Мхитара не видел? Битый час зову, а его нет...

Сурен посмотрел на внука. Тот съезжился за камнем и, крепко зажав рот руками, одними глазами смеялся и просил деда не выдавать его во имя мужской солидарности. И Сурен не нашел в себе сил отказать внуку.

- Где он может быть, играет, наверное, в каком-нибудь уголке! – крикнул он.

Внук благодарно кивнул головой, мол, молодец, дед.

- Не случилось бы чего с ребенком, - снова послышался голос бабушки.
- Не случится. Сейчас закончу эту цифру и разыщу, не беспокойся, - сказал Сурен.

Дверь дома затворилась.

Мхитар вышел из-за камня.

- Дедушка, - сказал он, - а здорово мы обманули бабушку, а?
- Ах ты, сукин сын, - засмеялся Сурен, - смотри, чему меня учишь! Ну не мешай. Займись чем-нибудь, пока я закончу цифру.

Он снова взял молоток и резец и спокойными, ровными ударами высек последнюю цифру: "Тригор, 1922 – 1941", прочитал он. Потом, вдруг испугавшись, посмотрел в сторону внука.

Мхитар из обломков камня строил домик. Камушки падали, домик разваливался, но мальчик упорно все клал и клал камни друг на друга. И Сурен вдруг почувствовал невероятную, почти физическую боль за этого прекрасного, невинного ребенка. Он вспомнил, что и сам был в этом возрасте, когда отца взяли на войну и он остался сиротой. И хоть был он неверующим, хоть неверующими были его отец, и дед, и прадед, каменщик Сурен поднял глаза к небу и прошептал:

- Господи, избави наших невинных детей от войны. Нас не пожалел, пожалей и сохрани их. Я согласен на все. Пусть будем голодные и холодные, нагие и босые, лишь бы не было войны! Лишь бы дети наши не оставались сиротами...

- Что это ты говоришь, дед? – испуганно окликнул его Мхитар.

Сурен вздрогнул, посмотрел на внука, устыдился и растерялся.

- Декламирую. – сказал он.

- И уже кончил? – разочарованно спросил внук.

- Да, сказал все, что нужно, и закончил.

Внук хотел попросить, чтоб дед продекламировал еще, - но посмотрел на его грустное, почти суровое лицо и промолчал. Нагнулся, увидел, что его домик снова развалился, по-взрослому вздохнул и снова начал осторожно класть друг на друга обломки, которые дед отколол от скалы памятника.

Каменщик Сурен тоже невольно вздохнул, погруженный в свои думы, взял линейку и резец, отмерил, провел новые линии на камне и написал: “Левон, 1920 – 1945”.

## ЛЕВОН

5.09.39 г.

Пишу письмо со станции Хонут, моей дорогой маме Варсеник.

Моя любимая и незабвенная мамочка, разреши, в первую очередь, послать мой искренний, сердечный привет тебе, а так же моему брату Григору, сестренке Шамам, а также тетушке Эрикназ, тетушке Машо, дяде Тевану, а так же всем близким. А во-вторых, что касается меня, то я здоров, цел и только сильно тоскую по вас.

Мама джан, всего два дня, как мы расстались, но я соскучился так, будто прошел целый год. Одежду свою выслал посылкой в село, проследите, чтоб получить. Мне одежда не нужна, потому что сказали, что во время демобилизации нам оставят военную форму. Так что проследите, чтобы получить посылку, и, так как у тебя золотые руки, мамочка, перешей ее на Григора. Не прячь. Когда я приеду, она мне будет мала.

Еду в хорошем настроении, все мои друзья хорошие парни и никаких различий между нами не делают. Так что я очень рад. Любимая мамочка, только один раз мне стало больно и не могу об этом не написать. Когда нас строем повели в баню, чтобы постричь и выкупать, мы проходили мимо нашего старого дома, и мне вспомнилось, как мы были все вместе и как были счастливы. Удивительно, не правда ли? Были счастливы и не знали этого. Думали, что живем обыкновенно. Мне стало больно, и я очень затосковал. Ты знаешь по ком. Если вдруг узнаешь что-нибудь, напиши мне. В следующем письме, наверное, сообщу свой адрес.

Остаюсь тоскующий по вас

Левон Алексанян

Станция

15.11.39 г.

Любимая мамочка! Прости, что пишу вкривь и вкось, потому что отогреваю пальцы дыханием и потом пишу. Здесь настоящая зима, метет пурга, но нас тепло одели, не мерзнем. Мой командир мною очень доволен, пишу это, чтобы обрадовать тебя. Вчера поставил перед строем и сказал всем:

- Учитесь служить так же добросовестно и дисциплинированно, как боец Алексанян.

Потом командир вызвал меня и долго со мной разговаривал. Очень удивился, что я не комсомолец, и предложил подать заявление. Когда я объяснил ему все обстоятельства, рассердился:

- Здесь, перед лицом врага, - сказал он, - яснее видно, кто достоин быть комсомольцем. Садись сейчас же и пиши заявление.

Я и написал.

Прости, мамочка, тревога. Я лечу.

Твой Левон

18.04.40 г.

Моя несравненная мамочка Варсеник! Так соскучился по тебе, Шамам, Григору, нашему селу, что когда вспоминаю, перехватывает дыхание. Я комсомолец, мама джан. Рекомендации дали командир и политрук. А неделю назад сфотографировали перед знаменем полка. Снимок не такой уж удачный, но посылаю. То беленькое, кругленькое у меня на груди – медаль, мамочка. На ней по-русски написано “За отвагу”. Если хорошо разглядеть, можно прочитать. А за что я ее получил, в письме писать нельзя. Вернусь, расскажу подробно. Только знай, что твой сын, как и поклялся, служит Родине честно и от всей души. Когда увидишь этого Маркоса, то есть другого правнука моего прадеда, покажи ему снимок и скажи: “Понял теперь, сукин сын, кто настоящий комсомолец?” Так прямо и скажи, мама джан. А остальное я сам добавлю, когда вернусь.

Очень обижен на вас. То ли не пишете писем, то ли я не получаю. Нас, правда, часто перебрасывают, ну, война, понятное дело, но куда бы нас ни отправляли, почта доходит. Хочу сказать, что как это другие письма получают, а я нет. Очень беспокоюсь за Григора. Один остался мой братик. Не очень ли его притесняют? Как моя златокосая сестричка? Скажи ей, неужели не находит времени послать брату хоть привет, она же знает, бессовестная и бессердечная, как я ее люблю.

И потом, мамочка, хоть мне и стыдно, но никуда не денешься, так и пишу, одним словом, ты, вероятно, знаешь, что есть в нашем селе одна девушка... Если придет к тебе и скажет кое-что, знай, что это и мои слова. Я ей обещал, мамочка!

Знаю, что тебе очень трудно. Знаю, мамочка, но ты умеешь терпеть и всю жизнь привыкла ждать. Опять тебе приходится терпеть. Подожди еще немного. Я вернусь, победим белофиннов, и я вернусь, чтобы утереть твои слезы, моя измученная мама.

ЛЕВОН

Действующая армия

22.07.40 г.

Наконец нашел время написать тебе письмо, мамочка. Когда вернулись с боевого задания, я чуть не сошел с ума от радости. Вдруг увидел у себя на койке сразу пять писем – от тебя, Шамам, Григора, Эрикназ и Шогер. Перецеловал письма и вскрыл.

Очень рад, что вы живы-здоровы. Я тоже здоров и, вот интересная вещь, мамочка, – в селе от легкого ветерка я сразу простуживался и чихал. Помнишь, перед уходом в армию Григор все шутил, что финны в ужасе разбегутся от моего чиханья. Здесь мне приходилось часами лежать на снегу, стоять в пургу на посту, мокнуть до костей под дождем, но я ни разу не кашлял, и ни разу – скажи Григору – не чихал. А белофинны в ужасе бегут и без моего чиханья.

И вот, по-моему, в чем секрет, мама джан: в селе я знал, что моя мамочка сразу заварит мне кизил или горячий чай с розовым вареньем, и от этого слабел и спокойно простужался. А здесь кто мне заварит кизил, моя ласковая мама!

Да, вот еще что – радуйся, ведь я знаю, что у тебя мало радости, матушка моя. Командир полка сказал, что, как только победим, отправит меня в танковое училище. “Ты отлично сражаешься, боец Александян, - сказал он, - отправлю учиться водить танки. А когда демобилизуешься, будешь иметь специальность: хочешь садись за трактор, хочешь – за машину. Сам решишь”.

В лампе кончился керосин, мамочка, она гаснет, я кончаю письмо и ложусь спать. Кто знает, когда поднимут?

Всегда любящий тебя и тоскующий

Левон

Действующая армия.

18.09.40 г.

Я курсант танкового училища. Во всем училище, мамочка, нас, участников финской, всего несколько человек, и я, твой сын, единственный, у кого есть медаль. Остальные курсанты еще дети. Так что здесь я в почете. Два дня назад попросили, чтоб я рассказал о финской войне. И я рассказал по-русски. Очень боялся, что поднимут на смех из-за ошибок. Но никто не смеялся.

Как Шамам, мама джан? А как Шогер?

Ах, как я соскучился!

Левон

Челябинск, Танковое училище.

20.06.41 г.

Бесценная моя мама, получил посланные тобой 40 рублей. И как получил, так и посылаю назад. Почему мучаешь меня, мама джан? Зачем мне деньги? Мне и без того стыдно, что я уже взрослый парень, а тебе ничем помочь не могу. Тяжко становится на душе, когда представляю, как ты на рассвете идешь на работу (в ушах стоит голос бригадира: “Варсеник”!) и возвращаешься затемно, а потом садишься и стучишь на своей швейной машинке. Вместо того чтобы мы содержали тебя, опять ты содержишь нас, моя любимая, моя измученная мама. Мне ничего не нужно, если можешь, помогай Шамам и Григору. И откуда свалилась эта беда на мою хохотушку-сестренку? Хорошо, что хоть Григор в Ереване, проследит за ней.

А оттуда, издалека нет вестей, мама?

Я, поверь, никогда так не мечтал быть дома, как сейчас. Быть рядом с тобой. Прошу не обижайся, но наш дом будто рушится. Ведь какая б ты ни была героиня, ты все же женщина, мама джан. А

как быть дому без мужчины? Ну ничего, осталось мало, считаю дни, когда вернусь. Осталось сто двадцать пять завтраков, сто двадцать шесть обедов и столько же ужинов.

Твой сын Левон.

Танковое училище.

17.07.41 г.

Мама джан, родная моя, скажи, что мне делать, чтоб ты не плакала? Строки твоего письма расплылись от слез. Что делать? Как мне осушить твои слезы? Когда узнал, что гитлеровская Германия начала войну, мама джан, подумал в первую очередь, что против нашей семьи начала войну, на наш дом напала. Ведь я считал дни, когда вернусь к вам, а теперь...

Но ты, родная моя, не бойся войны. Товарищ Ворошилов, товарищ Тимошенко и товарищ Буденный создали три фронта, первым же ударом довольно далеко отбросили немцев, взяли тысячи пленных. Будьте уверены, чтотеперь наша армия будет гнать их все время.

О себе могу сообщить, что работаю сейчас на Челябинском танковом заводе. Не знаю почему, но решили так. Совсем немножко оставалось, чтоб я закончил, стал офицером. Подозреваю одно...

Очень прошу тебя, Эрикназ, Шогер и всех-всех, кто получает мои письма, не показывать никому мой адрес. Не показывайте другим, потому что подозреваю, что адрес танкового училища попал в чужие руки (ты знаешь, в чьи), и он написал письмо нашему начальству. Когда меня оставят в покое? Когда? Когда дадут нам жить?

Очень беспокоюсь за Шамам, Григора... Шогер еще у нас или пишет из своего дома? Очень беспокоюсь...

Левон

Челябинский танковый завод.

28.10.41 г.

Любимая мамочка, признаюсь, я в глубине души был уверен, что больше не увижу радости. Почти смирился с мыслью, что радость – для других, а мы можем только смотреть со стороны. Что ж поделаешь, до сих пор было так. И вдруг твое письмо. Значит, мой папа жив! Значит, есть он, мой удивительный отец. Да здравствует мой папа и ты, которая всю жизнь ждала его. Не обижайся, мамочка, но знаешь, с чем мне вдруг захотелось сравнить отца? С растущей по обочине дороги полынью. Проходят люди, вытаптывают ногами, проезжают телеги, давят колесами, затаптывают, хоронят в пыли и думают, что все, конец, пропала полынь, больше не поднимется, но вдруг видят: распрямляет стебли, медленно поднимает голову и встает это гордое, негибкое, упорное растение и отряхивает пыль со своих листочков... В следующем письме сразу вышли мне номер полевой почты отца, чтобы я мог, мамочка, написать письмо моему солдату отцу. Честь и слава Санасару Александяну!

Ваш сын Левон

Танковый завод

6.07.42 г.

Моя родная мамочка, ничего не понимаю и начинаю волноваться. Почему ты не прислала мне номер полевой почты папы? Почему Шамам и Григор не пишут? На мои вопросы не отвечаете ни ты, ни Шогер, ни Эрикназ. Хотите, чтоб я написал письмо в военкомат? Жалко же меня, почему мучаете? Язык не поворачивается написать о своих сомнениях. Что случилось, мама джан? Прощу, напиши прямо, потому что мучаюсь от неопределенности.

Снова повторяю: мне ничего не нужно. Чем можешь, помогай Шамам и Григору. Я знаю, что Шамам еще в больнице, а мой родной братик в тюрьме. Я знаю. Я точно знаю, что Григор стал чьей-то жертвой, потому что он неспособен на подлость или бесчестье. Так что помогай им, если можешь, мама джан. Мне не хватает только табаку. Здесь сушат и продают листья репы, маленький стаканчик за пять рублей. Одну папиросу выкуриваем вшестером-всемером. Так что если можешь, пришли табаку. Больше ничего.

Твой беспокоящийся сын Левон

Танковый завод

31.12.42 г.

Поздравляю с Новым годом, мои родные!

Шлю мои тоскующие слова из далекого Челябинска в мою солнечную Армению моей родной маме Варсеник Алексанян!

Мама джан, я еще на танковом заводе. План выполняю на двести процентов. Как хорошему рабочему обещали дать отпуск, чтоб на несколько дней приехал к вам в село на побывку. Вчера меня премировали, вручили комплект солдатской одежды, шапку и пару обуви. И сто рублей. Эти сто рублей высылаю вам, потрать их на ребят, мама джан. Все время перед глазами Шамам и Григор. По моим подсчетам срок Григора давно закончился. Вышел ли он из тюрьмы? Здесь нам пару раз выдавали американское сгущенное молоко в банках. Продал их на рынке и купил Шамам красивое цветастое платье. Если приеду привезу. А если нет – вышлю. Что говорят врачи, мама джан?

Мамочка моя бесценная, я не имею права поучать тебя, потому что ты умная мать, многострадальная и испытавшая много горя, ты видела много трудностей, всегда жила честно, гордо и по совести. Всегда будь на высоте, моя мамочка Варсеник, и продолжай бороться с последними трудностями, пока мы не соединимся. Не обижайся ни на что, не сетуй, времена тяжелые, а как ты думаешь, война, кровь кругом льется. Многие родители ждут своих сыновей с войны, и кто знает, вернутся или нет. Надо вытерпеть, выдержать, пока не прогоним эту бешеную собаку Гитлера, и потом насладимся мирной жизнью.

Не думай, мамочка, что бы ни случилось, я вернусь к тебе и буду содержать тебя так, чтоб ты забыла всю горечь и страдания прошлого.

Живущей этой надеждой твой Левон

Танковый завод

16.03.43 г.

Не задаю больше вопросов, мама джан, потому что так и не получил на них никакого ответа. Я не знаю, что вы думаете, но знайте, что вы не правы. Когда вы молчите, я представляю гораздо более ужасные вещи, чем это может быть в действительности. Что сказать, пусть это останется на вашей совести.

У меня все в порядке, и я, наконец, достиг своей цели. Прямо сейчас как бригадир собираю тот танк, на котором отправлюсь на фронт. Отправлюсь как командир танка. Все государственные экзамены сдал на “отлично”. Очень боялся, что срежусь. Ведь над теми, кто плохо сдает экзамены, смеются, издеваются, что, мол, нарочно отвечает неправильно, чтобы избежать отправки на фронт.

Итак, пришла и моя очередь. Иду сражаться на своем танке против фашистов, которые принесли горе и разруху в мою страну. Иду выполнять свой долг перед Родиной.

И перед отъездом задаю тебе, моя бесценная мама, мой последний вопрос:

- Где Шогер?

Уже три месяца не получаю от нее писем.

- Где Шогер?

Если не ответишь и на этот вопрос, больше писать тебе не буду.

Напиши правду, какой бы она ни была горькой. Я уже давно не ребенок, мамочка, и видел такое, пережил такие муки, которых в Хонуте не пережил бы и за сто лет.

Твой Левон.

Танковый завод

26.09.43 г.

Продвигаемся с боями вперед, мама джан. Проходим через разрушенные города и стертые с лица земли села. Я и не думал, что в моей душе может быть столько ненависти. В ней смешалось старое и новое. Чего вы хотите от людей, ведь у них и без того тысячи забот, почему разрушаете людские дома, почему убиваете, сжигаете, уничтожаете созданное ими? Почему? Почему не даете людям жить? Почему разоряете, унижаете, причиняете боль? Во многих селах уже нет людей, два-три призрака, которые даже не радуются, видя нас. Показывают на сожженные дома, качают головами и смотрят такими грустными безумными глазами, что чувствуешь себя виноватым перед ними. Они безмолвно вопрошают: “Где же вы были до сих пор, бессовестные?” Невозможно смотреть.



Мне доверили новое грозное оружие, от одного звука которого врагу становится жутко. Когда посылаю снаряд в позицию врага, добавляю: “Это за сожженные дома и бездомных людей”. Посылаю следующий и говорю: “А это за мою пострадавшую маму Варсеник”.

Кричу и стреляю, кричу и стреляю в тех, кто разрушает дома, кто не дает нам жить, в тех, кто не позволил мне вернуться домой и стать вам опорой. Кто убил моего отца Санасара, сестренку Шамам и брата Григора. Кто не дал Шогер дожидаться меня и убил ее надежды. И кто оставил тебя не свете одну-одинешеньку, моя многострадальная, моя единственная, моя героическая мать...

Обо мне не думай, я цел и таким останусь, моя бесценная мама, и пока наше Красное Знамя не взвьется над Берлином, сердце мое не успокоится. Только тогда я смогу без стыда вернуться домой и буду знать, что наша борьба и пролитая кровь были не напрасны.

Твой Левон

Действующая армия, полевая почта

44/268.

29.05.44 г.

Мамочка, когда я в школе на уроке географии показывал на карте Украину, разве ж я мог подумать, что когда-нибудь пересеку на своем танке эту огромную страну, житницу нашей Родины, от которой сейчас остались лишь дым да пепел. И с гордостью думаю о нашем народе, который вновь воздвигнет города, еще красивее и больше прежних, засеет поля и разобьет сады. И этот народ предстает в моих глазах в образе Санасара Алексаняна, моего отца, которого сотни раз топтали, но не смогли сломить, который сажал на севере сады и верил в торжество справедливости. Удивительная загадка человек! Я до сих пор думаю, узнал ли отец в конце концов, кто его враги и за что преследуют его. Если узнал и продолжал сажать сады, значит, поистине велик был мой отец и твой муж, моя многострадальная мамочка. И мы все должны склониться перед его памятью. Твое письмо потрясло меня. Неужели все так и было? Неужели на вопрос председателя специальной комиссии, почему писал клеветнические письма на Санасара Алексаняна, Баграт Топальян так и ответил: “Мы не виноваты, время было виновато”? Так и сказал? Сказал, время было виновато? А кто же создал это время, если не ты и подобные тебе в верхах и в низах, Баграт Топальян? Бедное время! Все можно на него свалить. Ведь время не может ответить.

Как бы я хотел быть в этот миг рядом с тобой и посмотреть в глаза Баграту Топальяну. И в глаза другим, кто хоть и не писал, но покорно поднимал руку, или знал и молчал. Как могли жить эти люди, не понимаю? Как они могут спать по ночам? Неужели они не видят снов и не вскакивают в ужасе от кошмаров? Очень хотел бы посмотреть им в глаза. Но не могу. Я воюю. А они не воюют. Во время войны такие люди больными оказываются, старыми, слепыми и глухими. А как только война кончится, сразу исцеляются, чтобы руководить. С каким удовольствием я бы въехал после войны в село на своем танке! Впрочем, танк не нужен, лишь бы мы вернулись. Лишь бы вернулись... Если наша власть нашла в эти трудные дни время создать комиссию, чтобы расследовать и оправдать невинно затравленного и осужденного человека, так что же будет после войны! Куда спрячутся виновные, все подобные Баграту Топальяну люди?

Неделю назад наша танковая дивизия стояла близ железнодорожной станции. Рядом с нами остановился состав, полных раненых. Один из них высунулся в окно и попросил у проходящих папиросу. Смотрю, а это Мусаэла сын - Арташ.

- Эй! – кричу, - что с тобой стряслось?

А он смотрит на меня, смотрит на гвардейский значок, орден Красной Звезды, медали на моей груди и офицерские погоны и не узнает.

- Ты армянин, братец? – спрашивает, заикаясь.

- Не только армянин, о Арташ Серопян, - говорю я, - но и хонутец, тот самый, на кого вы напали группами, а мы с братом Григором лупили вас один на один.

Он чуть не выпрыгнул из окна поезда. Спустился, бросился в мои объятия, рыдал как ребенок и не мог успокоиться. Ему в голову попал осколок гранаты, и он сильно заикался. Я достал полную коробку папирос, дал ему и добавил еще махорки. Времени было много, сели, поговорили. Я и рассказал о твоём письме и о комиссии, которая приезжала в село, чтобы оправдать моего отца. Он посмотрел на меня с какой-то жалостью. Покурил, вздохнул тяжело и вдруг спросил, есть ли у меня что-либо выпить. А когда выпил из моей баклажки пару глотков спирта, снова заплакал, обнял меня и вдруг сказал такое, мамочка, такое, что я чуть было не сошел с ума.

- Ничегошеньки ты не знаешь. Причем тут раскулачивание, причем собрание? Мой отец мне все рассказал в деталях, - сказал он, - кто бы ни был в то время на месте Санасара Алексаняна, все равно сослал бы. У руководства села не было помещения, им нужно было хорошее здание, поэтому Баграт Топалян предложил сослать Санасара Алексаняна. Ради помещения для конторы... Не отдавать же ему было свой дом под контору.

Вот с чего начались наши несчастья. Только молю тебя – никому ни слова. Пока не вернусь. Пока я вернусь, мама, и продолжу свою войну.

Гвардии старший лейтенант, командир танка,

всегда твой покорный сын

Левон Алексанян

Действующая армия.

14.12.44 г .

Моя несравненная мамочка. Как поется в нашей фронтовой песне: “Чем я дальше от тебя, тем ближе к тебе”. Мы уже в Молдавии и почти безостановочно продвигаемся вперед. Не удивляйся, что почерк ужасный и пишу левой рукой. Как назло прищемил указательный палец правой руки дверью. Ну я же с детства неудачник Фанос. Целую.

Твой Левон.

Действующая армия.

22.03.45 г.

Мама джан, долго смеялся, когда получил твое письмо. И лишь ради тебя, чтоб твой сон не оказался пустым, признаюсь, что палец дверью не прищемил, а был слегка ранен. Но теперь-то ты убедилась, что все уже в порядке. Видишь, снова пишу правой рукой. Ну и вообще, даже стыдно было бы три года воевать и ни разу не быть раненым. Это ж ни на что не похоже. Тем более, что красивые венгерки каждый день приходили в госпиталь, угощали нас собственноручно испеченными пирогами и говорили на своем сладком языке. Э-э, мама джан, все равно ничего слаще испеченного тобой хлеба на свете нет! Ну – да мало осталось, скоро полакомлюсь.

Моя любимая мама, ты снова пишешь, чтобы я назвал какую-нибудь девушку, и ты привела бы ее к нам. Хотя я и писал тебе, что не время думать об этом, но поскольку ты очень этого хочешь и думаешь, что вам вдвоем будет легче коротать время, скажу. Может, ты и обидишься, мамочка, но если уж спрашиваешь меня, прошу снова привести к нам Шогер. Не скрою от тебя, моя великодушная мама, я все время получаю письма от Шогер – оказывается, ее замужество было несчастливим. Через месяц после свадьбы ее мужа взяли в армию, и бедняга погиб на фронте. Так что Шогер свободна, и, как видно из писем, все еще хранит в сердце прежнюю любовь ко мне.

Не забывай, моя драгоценная мамочка, что сейчас война, что многие понятия сместились. Когда каждый день перед твоими глазами стоит смерть, невольно начинаешь смотреть на жизнь совсем иначе. И многое из того, что раньше казалось очень серьезным и важным, становится смешным и мелким. Так что знай, мама джан, что я ее прощаю и, хоть понимаю, что тебе тяжело, покорнейше прошу простить ее. Простить ради меня.

Видишь, как много изменилось, жизнь моя? Разве ж три года назад я позволил бы себе написать такое письмо моей маме? Со стыда бы сквозь землю провалился. Так что пойми и прости нас. Ведь ты самая добрая и самая мудрая мама на свете.

Левон

Действующая армия.

25.04 45 г.

Клянусь тебе, что сутками не выходим из танка. Не получаю писем ни от тебя, ни от кого еще, но не волнуюсь, потому что мы так быстро продвигаемся вперед, что полевая почта, видно, не поспевает за нами.

Мало осталось, моя мамочка Варсеник, уже ясно, что скоро, очень скоро мечта всего нашего народа и моя мечта станет былью. Волк поджал хвост и съезился в своем логове. Остался еще один удар, один мощный удар, и как я тебе всегда писал – наше Красное Знамя взовьется над Берлином. И я вернусь домой. Вернусь к тебе, мама джан. И все увидят, как должен сын заботиться о своей любимой матери.

Ты знаешь, что я вернусь, моя мамочка Варсеник, вернусь, потому что ради этого дня слишком много вытерпел и этого дня долго ждал.

Всегда твой Левон.

Действующая армия.

## ПАМЯТНИК

- Доброе утро, Сурен! Осторожнее, не спали усы!

Сурен поднял голову, обернулся, достал изо рта действительно догоревшую до конца сигарету, бросил ее и улыбнулся:

- Спасибо за внимание. Доброе утро.

Цолак засмеялся.

- Ты что, комментатор? Что это за “спасибо за внимание”?

- А как же, - сказал Сурен, - я комментатор камня.

- Что правда, то правда, - согласился Цолак, медленно обходя вокруг памятника, потом, прищурив глаза, огляделся по сторонам, стукнул кулаком по мокрой спине каменщика и повторил, - что правда, то правда, братец.

Потом встал против камня, беззвучно шевеля губами, прочел надписи.

- Значит, сделал по-своему.

- Да.

- Хвала тебе, - глядя с нескрываемым восхищением то на памятник, то на автора, сказал Цолак. – Молодец! И смотри, что получается. И первая жертва войны в нашем селе и последняя были из семьи тетушки Варсеник. Сперва отец, в конце сын. Смотри, что получается... Хвала тебе, Сурен, и эта твоя работа будет жить! Значит, закончил.

- Еще нет, - по-детски покраснев от похвалы, произнес Сурен.

Цолак удивился.

- Как то есть нет? Все написал.

- Не закончил.

Цолак еще раз перечитал надписи.

- Почему? Кто же остался?

- Тетушка Варсеник, - сказал каменщик Сурен.

-Нет, с тобой что-то случилось, - пожал плечами председатель. – Послушай, где же это видано писать имя живого человека на могильном камне?

- Я тебе тысячу раз говорил, но не поленюсь сказать еще раз. Она самая большая жертва Отечественной войны, - нахмурился каменщик, - и все, что было у нее на свете, сейчас на этом камне. Без ее имени не обойдется.

- А ее-то спросил?

- И не хочу спрашивать.

- Значит, ты и год смерти напишешь? – съязвил Цолак.

- Нет, - серьезно ответил Сурен. – Оставлю место. Дай бог долгой жизни тетушке Варсеник, и пусть год ее смерти напишет мой внук Мхитар. Но ее имя должно быть высечено на камне. Иначе не выйдет!

И чтобы доказать, как он тверд в своем решении и не принимает возражений, каменщик Сурен взял железную линейку и резец, отмерил, провел линии и написал “Варсеник, 1902 - ...”.

## ВАРСЕНИК

Много удивительных и странных вещей происходило, на первый взгляд, во время войны. Одной из этих странных вещей было то, что люди радовались, получая грубые, мятые треугольники писем, и ужасались, когда конверты бывали обыкновенные, прямоугольные. Потому что в этих обыкновенных, нормальных конвертах во время войны лежали главным образом официальные извещения, приносившие с собой несчастья.

Ровно через два месяца после войны, когда возвращались домой раненые и усталые войны, в Хонут пришел обыкновенный, нормальный прямоугольный конверт, в котором было написано, что при выполнении боевого задания 7-го мая 1945 года пал смертью героя гвардии старший лейтенант, командир танка, коммунист Левон Санасарович Алексанян. Было написано также, что его партийный билет, орден “Красного Знамени”, которым он был награжден посмертно, орден “Красной Звезды” и целый ряд медалей командование пересылает в Таушский военкомат. В конце было также написано, что родители Левона Санасаровича Алексаняна должны гордиться, что воспитали такого доблестного сына.

Видевшее тысячи несчастий село окаменело. Все были уверены, что больше не выдержит, сойдет с ума тетушка Варсеник или наложит на себя руки. Эта уверенность еще больше окрепла, когда тетушка Варсеник не завопила, не стала посыпать волосы пеплом и не упала в обморок. Она только вздрогнула и сразу побледнела, закрыла глаза, повернулась и медленно вошла в дом. Никто не осмелился проследовать за ней. Но и не могли допустить, чтобы, кто знает... И поэтому попросили Эрикназ пойти следом, не оставлять тетушку Варсеник одну. Муж Эрикназ тоже погиб на войне, и всем казалось, что это дает ей право утешать свою несчастную невестку. Эрикназ зарыдала, отказалась, потом все же решила войти в дом. Но дверь была заперта изнутри. Эрикназ испугалась, изо всех сил заколотила в дверь, захлебываясь слезами, окликнула Варсеник, прося, умоляя открыть дверь. И дверь открылась. Тетушка Варсеник вышла, стала на пороге, оглядела грустными глазами на грустном лице богородицы собравшихся и тихо, внешне спокойно сказала:

- Люди, я хочу остаться одна...

Некоторые, и в их числе Эрикназ, заплакали навзрыд, будто приглашая к тому же тетушку Варсеник разрыдаться по-бабьи и говорить, говорить, говорить, чтобы найти какие-то слова утешения, но тетушка Варсеник строго насупила брови...

- Не говорите, - сказала она, - обижусь.

И так это сказала, что люди сразу все поняли и устыдились. Потому что это был тот случай, когда любое слово утешения было бы оскорбительным. Что они могли сказать: “Дай бог тебе здоровья”? Или “Да перейдут непрожитые им годы другим твоим детям”? Или “Господь тебе утешитель”? А зачем ей нужен был бог? Зачем нужен был тот бог, который не смог сохранить ее невинного мужа и детей? Зачем ей нужен был абстрактный бог, если она потеряла своих живых, реальных, созданных ею богов.

И она снова вошла в дом. И трое суток не выходила оттуда. Эрикназ и другие соседи в беспокойстве то и дело посылали кого-нибудь из детей заглянуть в окошко, посмотреть, что делает тетушка Варсеник. И удивлялись, когда дети возвращались и говорили:

- Шьет.

А на четвертый день, на рассвете, когда бригадир созывал работниц, Варсеник вышла из дому с граблями на плече, и отправилась на табачную плантацию работать. Она больше никогда, ни по какому поводу и нигде не заговорила о своем муже и детях и без слов наложила запрет говорить об этом другим. Слова не всегда имеют цену.

Чаще всего они обедняют и упрощают переживания.

Те, кто не понимал ее, видя ее внешнее хладнокровие, силу духа и гордость, удивленно говорили:

- У Варсеник сердце стойкое, как у русской!

А кто понимал, преклонялись перед ней.

Некоторые же думали, что от сверхъестественного горя очерствеет, невольно озлобится Варсеник, и, исходя из собственной логики и опыта, находили, что она больше не сможет и не захочет видеть чужую радость и счастье.

Они ошибались. Они не знали Варсеник.

Произошло обратное.

И без того щедрая и великодушная женщина, которая дарила людям свою доброту и любовь, теперь отдавала им и то, что хранила для своих детей. Она, которая больше всех нуждалась в утешении, сама утешала людей не только словом, не только делом, но даже и тем, что продолжала жить. Она будто олицетворяла само материнство. И первая об этом сказала маленькая девочка еще в самом начале войны.

... Варсеник работала и жила на Гетапской сушильне табака, когда одна из работниц привела в сушильню горько плачущую девочку трех-четырёх лет.

- Лежит под кустом и плачет, - сказала работница, - я кинулась туда-сюда, но никто не откликнулся. Нечего было делать, привела сюда.

Табачницы окружили малышку, стали успокаивать ее, протянули хлеб, пытались разговорить. Ничего не помогло. Ребенок продолжал кричать и, хоть и шла война, отказался от хлеба.

Тогда к ребенку подошла Варсеник, протянула руки и тихонько сказала:

- Не плачь, детка...

И свершилось чудо. Ребенок сразу умолк, посмотрел на Варсеник заплаканными глазенками, пробормотал "ана" и бросился в ее объятия.



Сразу же сообщили в соседнее азербайджанское село, что в Гетапе находится неизвестно чья маленькая девочка. Несколько дней никто не приезжал. И все эти дни девочка ни на шаг не отходила от Варсеник, вцепившись в ее подол, повсюду ходила за ней, а по ночам засыпала, крепко обняв ее обеими ручонками. Но Варсеник не была бы Варсеник, если б ограничилась только этим. Невесть откуда достав кусок материи, она сшила девочке красивое платье, выкупала ребенка, расчесала, одела в новое платье, и все увидели, какая красивая девочка Амина.

А через неделю за Аминой приехали.

Семеро азербайджанцев на конях прискакали в Гетап. Расспрашивая, добрались до сушильни, сошли с коней, вошли, сняли папахи и поклонились тетушке Варсеник.

Варсеник улыбнулась и передала им чистую, красивую Амину в новом платье и с ленточкой в волосах.

Девочка сразу узнала отца, с радостным криком бросилась к нему, но когда отец подвел ее к лошади, Амина вдруг бросилась к Варсеник и обхватила ее ноги.

И стала горько плакать, не пуская, чтоб ее оторвали от Варсеник. От Варсеник пахло матерью...

В Варсеник говорила мать и тогда, когда она открыла дверь дома Антарам.

Молодого пастуха, мужа Антарам, в горах убило молнией. И она не захотела жить после смерти любимого мужа, выпила яд, которым опрыскивают сады. Ее кое-как откачали, но Антарам спокойным голосом объявила, что все равно покончит с собой. Родители в ужасе пришли к тетушке Варсеник.

- Если кто поможет, то только ты, - заплакали они.

И Варсеник пошла к Антарам. И когда вошла, собравшиеся у больной сразу вышли из комнаты. Антарам раскрыла глаза и с безграничной грустью посмотрела на тетушку Варсеник:

- Я знаю, зачем ты пришла, матушка, - сказала Антарам, - и хоть я боготворю тебя, но ты пришла зря.

И тетушка Варсеник сказала:

- Человек, дочка, умирает лишь тогда, когда ему не о ком вспоминать. И если тебя не станет, кто вспомнит о Бенике? Я, по-твоему, зачем живу? Ты думала об этом?

Антарам откинулась на подушки и вдруг всхлипнула, разрыдалась впервые за это время.

И тетушка Варсеник спокойно вышла из дому, сказав убитым горем родителям ее:

- Антарам будет жить!

И Антарам осталась жить.

Эх, кому только не приходила на помощь тетушка Варсеник!

Старшая сестра каменщика Сурена в детстве упала с лошади, повредила ноги. И чем старше становилась она, тем заметнее делалось ее увечье и ужаснее горе родных. Как должна была жить Манушак, чем кормиться, ведь не сможет работать ни в поле, ни в саду. И однажды ее мать, Гегецик, рыдая, раскрыла душу перед тетушкой Варсеник, стала просить совета.

- Деньги у тебя есть, Гегецик?

- Сколько? – удивилась Гегецик.

- На швейную машинку.

- Соберу, - еще ничего не понимая, сказала Гегезик.

- Ну, а пока соберешь, девушка за это время станет портнихой, и ты сможешь не беспокоиться за ее будущее. Если кому и придется беспокоиться, так это мне, - ласково улыбнулась Варсеник, - ведь у меня хлеб будет отбивать.

Она привела Манушак к себе, обучила шитью, и когда Манушак научилась шить даже брюки, тетушка Варсеник сказала:

- Ты уже сравнялась со мной, детка, иди работай...

И сколько таких, как Манушак, обучила ремеслу, поставила на ноги, “научила зарабатывать хлеб насущный”, как говорила Сатеник из Тауша, и не только в Хонуте, но почти во всех селах Таушского района!

... Цолака только-только избрали председателем колхоза, когда однажды дверь его кабинета растворилась и на пороге показалась тетушка Варсеник.

- Тетушка Варсеник? – удивился Цолак.

- Здравствуй, сынок, - тихо сказала она.

- Здравствуй, мать, присаживайся! Ты ли это, тетушка Варсеник? Может, смогу наконец, хоть раз помочь тебе чем-нибудь?

- Цолак джан, как у тебя с продуктами, сможешь выдавать мне каждый день литров десять молока, хлеба тоже и немного сахару?

- Каждый день? – смутился Цолак.

- Да, каждый день!

- Зачем тебе столько, тетушка Варсеник?

- Да не мне... Хочу присматривать за малышами, чьи матери работают в Гетапе. Не по совести это, Цолак джан – каждый день таскать детей за шестнадцать километров. И детишек жалко, и матерей. Да и какие они после этого работницы!

- За столькими ребятами разве уследишь?

- А их не так много, сынок, всего-то четырнадцать душ, - ответила тетушка Варсеник, - да и мне занятие. А то и дом огромный пуст, и сад. Пусть детишки играют себе, а? Давай, соглашайся, сделай милость!

- Я?! Это я делаю милость? – разволновался председатель

- Конечно, сынок... Четырнадцать матерей тебя благословлять будут, разве этого мало? Не жалей молока, Цолак джан!

Цолак покачал головой:

- Удивительный ты человек, тетушка Варсеник! Рассказать кому – не поверит... Говоришь, не жалеть? Да разве на такое дело чего-нибудь жалко? И молока дам, родная, и сыру, и яиц, все сделаю. Ты же нас буквально спасаешь!

- Э, Цолак джан, хоть какое занятие мне будет...

Между делом вырастила и выкормила она детей Эрикназ, никогда не забывая, что в те проклятые дни тридцатого года, когда забрали Санасара, Эрикназ была единственная, что не испугалась, приехала на телеге на станцию и забрала в село Варсеник с детьми. А что до села они не доехали, в том вины Эрикназ не было.

Виновный – БаграТ Топальян, чья спина согнулась под бременем грехов, что в этом мире бывает так редко. Раньше времени состарившийся, весь день просиживал он на камне перед конторой, смотрел пустыми бессмысленными глазами на прохожих и спрашивал:

- Когда придет председатель, говорю, когда придет председатель?

Никто ему не отвечал, да БаграТ Топальян и не ждал ответа, потому что этот вопрос он задавал даже самому председателю.

Лишь изредка не выдерживала и отвечала на его вопрос уборщица школы бабушка Джаваир, ее мужа тоже некогда сослали по доносу БаграТ Топальяна. Она останавливалась прямо перед БаграТом Топальяном и говорила:

- Зачем тебе нужен председатель, БаграТ-бек, тебе нужен архангел Гавриил.

И БаграТ Топальян снова спрашивал:

- Когда же придет...

- Вот этого не знаю, - говорила бабушка Джаваир, - как видно, ты даже ангелу смерти не нужен!

Никому больше не был нужен БаграТ Топальян. Даже родному сыну, который благодаря старым отцовским связям и собственной предприимчивости сумел проползти вверх по служебной лестнице и стать членом коллегии Госплана. Манучар Топальян сейчас очень стыдился состояния отца, и когда на каких-нибудь пирушках провозглашали тост за родителей, принимал скорбный вид и присоединялся к тем, у кого не было родителей и о чьих родителях говорили: “Да пребудет их душа в царствии небесном”.

Но душа Баграта Топаляна пребывала не в небесном царствии и не в аду, а еле держалась в щуплом теле старика с бессмысленными глазами и грелась на солнышке на лежащем перед конторой хонутского сельсовета плоском камне.

Порой к нему, казалось, возвращалось сознание. В эти минуты Багра́т Топалян окликал спешивших в школу или возвращавшихся оттуда детей:

- Эй, ребята, идите сюда, я расскажу вам, как застрелил в Мурхузском лесу троих бандитов... Вот этой самой рукой! – Но пока ребята собирались, он терял нить, забывал, о чем хотел рассказать, и начинал бредить, произносил бессвязные слова, путал все и, в конце концов, становилось непонятно, где и против кого он боролся, да и боролся ли когда-либо и за что-либо этот старик с пустыми глазами.

Никому более не был нужен Багра́т Топалян, да и в жизни он никогда не был кому-либо нужен, и поэтому сейчас остался один-одинешенек.

А его жертва, Варсеник, не была одинокой.

Все село считало ее своей Матерью. Когда молодые женились, то в первую очередь посещали обязательно тетушки Варсеник, чтобы, во-первых, получить ее благословение, и, во-вторых, попросить, чтобы свадебное платье сшила именно она. Если кто-нибудь из хонутцев несколько дней подряд возвращался домой пьяным, жена приводила его в чувство, грозясь: “Вот скажу тетушке Варсеник, со стыда сквозь землю провалишься”. Когда какая-либо бригада заканчивала сбор урожая и отмечала под знаменитыми Маратскими деревьями это событие, бригадир обязательно обращался к тетушке Варсеник:

- Тетушка Варсеник, бери половник и пойдем...

- Послушай, - притворно возражала Варсеник, - столько молодых на селе, пусть на этот раз они сварят обед!

- Разве не жалко людей? – смеялся председатель и добавлял, чтоб еще больше порадовать тетушку Варсеник: - Пойдем, пойдем, тетушка Варсеник, без тебя и праздник не праздник.

И тетушка Варсеник широко улыбалась:

- Ну что ты, сынок! Приду, приду, сварю, ешьте на здоровье...

Никто никогда не слышал сорвавшихся с ее уст упреков или проклятий. Жила она спокойно, с достоинством, стараясь хоть чем-нибудь быть полезной людям. И если вдруг сердилась, то только на тех матерей, которые в чем-либо были невнимательны к своим детям. И потому что рядом жила Эрикназ, большинство замечаний доставалось именно на ее долю.

- Послушай, не забудь послать в город мешок картошки, ведь зима на носу.

Или:

- Послала Ашоту кизила, он же просил? Если у тебя нет, я дам.

- Эрикназ! Ради всего святого, возьми у меня авелук и пошли Сааку! А то у меня его столько, что не знаю, куда девать.

Никто не видел слезинки на глазах этой женщины с необъятным горем. Никто... кроме Шогер.

Летом Шогер привезла в село маленького сынишку и однажды, идя с ним мимо старого родника, вдруг столкнулась с тетушкой Варсеник. Сильно растерявшись, она остановилась и невольно обеими руками крепко прижала к себе сына. Тетушка Варсеник грустно посмотрела на нее и улыбнулась:

- Ты приехала в село и не заходишь ко мне, доченька?

- Стесняюсь, - сказала Шогер.

Ребенок смотрел на незнакомую бабушку широко раскрытыми глазами.

- Твой? – спросила тетушка Варсеник.

- Да, - покраснела Шогер.

- Да пребудет в счастье! – благословила тетушка Варсеник и вдруг стала перед ребенком на колени. – Как тебя зовут, дитя мое? – спросила она, ища в кармане конфету.

- Левон, - пролепетал мальчик.

- Как? – Варсеник показалось, что она ослышалась.

- Левон, - сказал мальчик громче.

Шогер увидела, как катятся слезы по побледневшему лицу старой женщины, и не выдержала. Обняла тетушку Варсеник, прижалась к ее груди и стала рыдая повторять:

- Прости, мама джан, прости, мама джан...

Малыш удивленно посмотрел на мать, потом на незнакомую бабушку, которая невесть почему рыдает как ребенок, и спросил, сочувственно надувая губки:

- Почему ты плачешь, бабушка? Мам, почему бабушка плачет?

Почему плачет! Вот и ответ на этот вопрос, ответ, почему плачет тетушка Варсеник!

## ЭПИЛОГ

...Кто-то прошептал:

- Тетушка Варсеник.

Шепот пронесся по всему кладбищу. Женщины, будто по команде, умолкли, и все взоры обратились к входу на кладбище, откуда медленно и величественно шла в их сторону тетушка Варсеник.

Потом все повернулись туда, где возвышался сооруженный каменщиком Суреном памятник, кусок скалы.

Председатель Цолак, которого заставили выпить не один заупокойный тост, был уже довольно пьян и воодушевлен. Он вышел навстречу тетушке Варсеник, взял ее за руку:

- Иди, иди, погляди, что сделал Сурен.

Тетушка Варсеник остановилась и долго, не мигая, смотрел на обломок скалы, потом обошла вокруг, будто зачарованная, снова остановилась и молча прочла надписи. Потом погладила, ощупала пальцами буквы, как это делают слепые, и посмотрела ясными сверкающими глазами на каменщика Сурена.

- Благодарю, сынок, - сказала она тихим, ласковым голосом, - ты собрал всех ко мне. Благодарю тебя.

Она протянула руку. Каменщик Сурен, растроганный как ребенок, бросился к тетушке Варсеник и схватил ее ладонь. Тетушка Варсеник нагнулась и поцеловала грубую, покрытую землей, руку каменщика. Это произошло так неожиданно, что Сурен остолбенел. Потом резко вырвал руку, обнял тетушку Варсеник и сказал хриплым от волнения голосом:

- Что это ты делаешь, что это ты делаешь? Хочешь, поклонюсь тебе в ноги?

В сторонке Агуник накрыла скромный стол, нарезала традиционный в день святого креста арбуз, хлеб, сыр, помидоры, разлила в граненые стаканы тутовую водку и плакала.

Цолак, чтобы самому не зарыдать, прикрикнул на нее:

- Что это ты делаешь? Убери лицо от стаканов, не разбавляй водку.

Потом взял один из стаканов, протянул тетушке Варсеник, другой дал каменщику Сурену и поднял свой стакан, поглядел на пузырьки, образовавшиеся на поверхности водки, и сказал:

- Твое здоровье, мать!

Настоящим хонутцем был председатель Цолак, и, как положено настоящему хонутцу, говорил искренне, воодушевленно, красиво.

- Твое здоровье, мать! – повторил он. – От всего сердца я пью. За тебя. Ты настоящая мать. Ты мать целого народа. Ты классический пример того, как надо жить на свете.

Варсеник посмотрела на Цолака добрым взглядом:

- Не говори, Цолак джан.

Каменщик Сурен засмеялся:

- Не может, - сказал он, - если они не будут говорить, то чем жить будут?

Но выбить председателя Цолака из колеи было нелегко. Он только бросил на Сурена снисходительный взгляд и продолжил с тем же воодушевлением:

- Я знаю, что мог бы ответить тебе, несчастный, - сказал он, - но сегодня ты юбиляр, и я прощаю тебя. Итак, значит, твое здоровье, мать! – Он, видно, вспомнил и свою мать, потому что глаза его налились слезами. – Мать – уже сама по себе святыня, - сказал он. – А ты мать из матерей, и я от своего имени, от имени всех хонутцев склоняю голову перед твоим величием, твоим безутешным горем и безбрежным терпением...

Он поднял стакан к небесам и выпил до конца.

- Сними блузу, Цолак джан, - сказала тетушка Варсеник.

- Что? – удивился Цолак. – Блузу? Зачем?

- Под мышкой слегка распоролось, - сказала тетушка Варсеник, - сними, дай, я зашью.

- Э-э, - обиделся Цолак, - разве сейчас время?

- Снимай, снимай, дорогой, - сказала тетушка Варсеник, - иголка с ниткой всегда со мной. Снимай...

Председатель, стесняясь, снял блузу, протянул тетушке Варсеник и сел на траву перед скатертью. Тетушка Варсеник взяла нитку и иголку, слегка прищурилась, под изумленным взором Агуник мгновенно продела нитку и стала шить.

- Наполни стаканы, Сурен, - попросил Цолак.

- Наполню, братец, - взял бутылку каменщик Сурен.

- Ком какой-то в горле, - сказал Цолак.

- Почему?

- Не знаю, - сказал Цолак, - когда смотрю на тетушку Варсеник, слезы подступают, Сурен.

- И вправду, - согласился Сурен.

Цолак снова взял стакан, посмотрел на тетушку Варсеник, которая привычными движениями зашивала блузу, посмотрел, посмотрел и сказал:

- Ты уж прости, тетушка Варсеник, я сегодня немножко выпил, да и на душе накипело, хочу задать тебе один вопрос.

- Спрашивай, сынок, - перекусив нитку зубами, протянула Цолаку блузу Варсеник.

Цолак надел блузу.

- Как ты смогла вынести такую боль, тетушка Варсеник? Можешь ли ты в нескольких словах охарактеризовать, например... - Он сам устыдился своих слов и быстро добавил, - можешь сказать нам, какой была твоя жизнь?

Варсеник посмотрела на председателя ясными глазами, потом подняла голову, перевела взгляд на обломок скалы и высеченные на нем надписи:

- Вся моя жизнь записана на этом камне, - сказала она.

- Точно, - сдавленно пробормотал каменщик Сурен.

- Замолчи, - прервал его Цолак, заметив, что Варсеник хочет еще что-то сказать. – Говори, тетушка Варсеник...

Варсеник, не отрывая взгляда от памятника, покачала головой.

- Не хочешь говорить... Ладно, раз так, я скажу. Сказать, тетушка Варсеник?

- Что ты должен сказать, сынок? - ласково улыбнулся тетушка Варсеник

- Скажу, - сказал Цолак, - скажу. Твоя жизнь была битвой.

- Битвой? Против кого? – наклонился вперед Сурен.

- Скажу, - сказал Цолак. – Твоя жизнь, тетушка Варсеник, была битвой против бога. Бог начал против тебя несправедную и жестокую войну, но победительницей вышла ты, мать! Потому что он отнял у тебя все, что ты имела, но твою совесть и рассудок отнять не сумел. Правильно я говорю? Нет, скажи, разве я не прав?

Но тетушка Варсеник, вероятно, не слушала его, потому что гладила старческими пальцами буквы и, безмолвно шевеля губами, читала родные имена, высеченные на скале.